
Ф. М. Достоевский
А. С. Грин
Ф. К. Сологуб
А. Е. Зарин
В. Н. Олин
Н. А. Бестужев
А. Н. Апухтин
ПРИЗРАКИ ПЕТЕРБУРГА
Н. С. Лесков
МИФ

Призраки Петербурга

Андрей Ефимович Зарин, Валериан Николаевич Олин, Федор Михайлович Достоевский, Николай Александрович Бестужев, Алексей Николаевич Апухтин, Николай Семёнович Лесков, Федор Кузьмич Сологуб, Александр Степанович Грин

Аннотация
А. Н. Апухтин, Н. А. Бестужев, А. С. Грин, Ф. М. Достоевский, А. Е. Зарин, Н. С. Лесков, В. Н. Олин, Ф. К. Сологуб. Призраки Петербурга
В. Н. Олин. Странный бал. Из цикла «Рассказы на станции»
Н. А. Бестужев. Шлиссельбургская станция. Истинное происшествие
Ф. М. Достоевский. Бобок. Из «Дневника писателя» за 1873 год
Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний
А. Н. Апухтин. Между жизнью и смертью. Фантастический рассказ

А. Е. Зарин. Дар сатаны. Рассказ
Ф. К. Сологуб. Дама в узах. Легенда белой ночи
А. С. Грин. Земля и вода
Над книгой работали

Аннотация

В рассказах этого сборника герои, прогуливаясь по улице, запросто оказываются приглашены на бал к сатане, делят кров с домовыми и мертвецами, подслушивают разговоры покойников, становятся вместилищами мстительных духов и переживают конец света.

И все это происходит в Петербурге – в городе, занимающем совершенно особенное место в русской литературе. «Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека», – писал Достоевский. Останутся ли герои прежними, столкнувшись с фантомами Петербурга?

В книгу вошли рассказы: «Бобок» Ф. М. Достоевского, «Привидение в Инженерном замке» Н. С. Лескова, «Земля и вода» А. С. Грина, «Дама в узах» Ф. К. Сологуба, «Странный бал» В. Н. Олина и др.

А. Н. Апухтин, Н. А. Бестужев, А. С. Грин, Ф. М. Достоевский, А. Е. Зарин, Н. С. Лесков, В. Н. Олин, Ф. К. Сологуб
Призраки Петербурга

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Печатается по изданиям:

Русская романтическая новелла. М.: Худож. лит., 1989. 384 с.

Бестужев Н. А. Избранная проза. М.: Сов. Россия, 1983. 336 с.

Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 21. Дневник писателя, 1873. Статьи и заметки, 1873–1878. Л.: Наука. Ленинград. отд-е, 1980. 554 с.

Лесков Н. С. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 7. М.: ГИХЛ, 1958. 572 с.

Апухтин А. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. М.: Худож. лит., 1985. 558 с.

Зарин А. Е. Дар сатаны. СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1904. 294 с.

Сологуб Ф. К. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. Заклинательница змей: Роман. Рассказы. Статьи. Эссе. Заметки. Воспоминания современников. М.: НПК «Интелвак», 2002. 608 с.

Грин А. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. М.: Правда, 1965. 460 с.

© Оформление. ООО «МИФ», 2026



В. Н. Олин. Странный бал. Из цикла «Рассказы на станции»



В прошлом 182* году (я уже сказал, что так путешественник начал рассказ свой) — в прошлом 182* году, вечером, один отставной генерал, человек одинокий, сидел у себя дома. На дворе была глубокая осень, и время, помнится, приближалось уже к Михайловским заморозам[1]. Скука мертвая, да и только! Сидя на своем турецком диване, на котором лежали в головах три постельных подушки, и раскладывая уже несколько раз и на все манеры гранд-пассианс, генерал бросил наконец карты, зевнул, потянулся, поправил на голове колпак и взял книгу. Новая скука! Пробежать несколько страниц не долго и не трудно, и не в этом дело; но читать, когда читать не хочется, но глядеть в книгу, беспрестанно зевая и когда рябится в глазах не потому, чтобы хотелось спать,

[1] Notes: 1

21 ноября — Михайлов день. *Здесь и далее, за исключением переводов и если не указано иное, прим. ред.*

но потому, что или книга скучна, или просто, как я уже сказал, читать не хочется, — какое ужасное положение для читающего! Не знаю, как вы, а я испытал это несколько раз и поэтому, признаюсь вам, я почти всегда с содроганием принимаюсь за всякую новую книгу.

Что делать? чем заняться? Гранд-пассианс уже наскучил, книга не читается, лежать не лежится. Генерал для рассеяния спросил трубку; но и тут опять горе! Выкурив перед этим уже несколько трубок, он почувствовал от этой последней тошноту; позвонил в колокольчик, спросил стакан холодной воды, чтобы освежить желудок, — пить не хочется! Беда, да и только! Одним словом, какое-то враждебное влияние, казалось, окружало его и над ним тяготело.

Прошедшись несколько раз взад и вперед по комнате, генерал снова позвонил в колокольчик.

— Иван! — сказал он вошедшему слуге, — выдь на двор и погляди, какова погода; да смотри, не ветрено ли? Все будет по крайней мере не так душно, как здесь, — продолжал он по уходе слуги и, снявши с головы колпак, повесил его на статуйку Медицейской Венеры, стоявшей у него на подзеркальном столике.

Слуга возвратился с ответом.

— Ну, так дай же мне поскорее одеться, — сказал генерал, — я хочу немного освежить себя воздухом. Мертвая скука!

Казалось, что какая-то таинственная сила невольно увлекала генерала на улицу.

Накинув на себя шинель и нахлобучив фуражку, генерал взял трость и пошел прогуляться. На дворе было уже часов около десяти.

Взявши дорогу, без цели и без намерения, по набережной Фонтанки и сделав несколько шагов, он стал дышать свободнее, освеженный воздухом. Ночь была тихая, но темная: порою выплывал из-за туч месяц, сребря фантастические края их или рассыпая перламутровый блеск по дымчатому их руну, и снова застилался тучами. Генерал шел, шел, шел, все прямо по набережной, и наконец поворотив на Чернышев мост, к переулку, ведущему к Гостиному двору, пошел другою стороною Фонтанки, пробираясь уже домой. Время приближалось к двенадцати часам, стук экипажей уже изредка прерывал безмолвие ночи; свету в окнах большей части домов уже не было, пешеходы начали встречаться реже и реже, многие из фонарей уже догорали, и самые

даже наши гостеприимные Фрины[2] (прибавил, улыбнувшись, путешественник) молились уже дома перед лампадкою.

Ночь в столице поучительна для наблюдателя.

Вдруг, неожиданно, попадается генералу навстречу знакомец его, Вельский, молодой образованный человек. Он был закутан в широкий гишпанский плащ; на голове у него надета была шляпа также с широкими полями, подобная тем, какие носят в Англии квакеры[3], или, лучше сказать, она скорее походила бы на погребальную, если бы только тулья ее имела форму полусферическую, а не просто обыкновенную.

— Куда, любезнейший? — спросил генерал Вельского, подавая ему руку и остановившись с ним под фонарем на тротуаре набережной.

— В гости, — отвечал Вельский. — А вы, генерал, куда и откуда? Верно, из гостей, иль театра, или также в гости?

— Нет, — отвечал генерал, — просто прохаживался и возвращаюсь теперь домой.

— Но эти часы, — возразил, улыбнувшись, Вель-

---

[2] Notes: 2

Фрина (ок. 390 до н. э. — ок. 330 до н. э.) — афинская гетера и натурщица.

[3] Notes: 3

Представители радикального протентанского движения.

ский, — кажется, не пора для прогулки без цели. Верно, какое-нибудь пленительное rendez-vous[4], генерал… впрочем, быть может, и весьма благоразумное… русый локон — прелестная, стройная ножка, как у подруги первого человека… или голубые глазки, озаренные каким-нибудь из блистающих теперь созвездий… Ха-ха-ха! Это, право, поэзия!.. Да и какая ж еще? Романтическая, генерал!

— Ах ты, повеса! Вечно шутки да шутки!.. Совсем нет, любезнейший! ты ошибаешься: какая-то мертвая скука — хандра не хандра…

— Верно, сплин? — прервал Вельский.

— Не знаю.

— Далее, генерал?

— Выгнала меня из дому. Вот я и пошел прогуляться; и теперь, освежившись воздухом, чувствую, что мне стало гораздо лучше, однако ж еще не совсем.

— Долго ли вы гуляли?

— Да так, часов около двух.

— И вы не устали?

— Нимало.

— Прекрасно! И вы не хотите спать?

---

[4] Notes: 4
Свидание *(фр.)*.

— Нисколько.

— Прекрасно. И вы говорите, что вам все еще скучно?

— Да.

— Прекрасно!

— Что за гиль ты городишь, любезнейший? Я, право, не понимаю, что ты хочешь этим сказать.

— Видите ли вы этот дом? — спросил Вельский и, вынув из-под плаща левую руку, на которой надета была белая лайковая перчатка — обыкновенная бальная принадлежность молодого человека, указывал на одно здание с прекрасным подъездом, у которого горели два кулибинских фонаря, или кенкета, отражая свет на мостовую. — Вот этот самый, — продолжал он, — который изнутри освещен так великолепно и мило?..

Генерал обернулся и в нескольких от себя шагах, в стороне, увидал в самом деле прекрасно освещенный дом, мимо которого, в своей задумчивости, прошел он без всякого внимания. У подъезда стояло несколько экипажей; в окнах третьего этажа горело множество свеч, и, если бы кто-нибудь в это время, с противуположной стороны набережной, взглянул на это здание — глазам его представилась бы картина

прелестная: дом, опрокинутый в воду, отражался в зеркальных зыбях ее с своим освещением, со всеми своими формами и даже с самым цветом стен своих: поэтому-то осенью блистательные иллюминации в Петербурге весьма живописны по набережным; иногда, по временам, раздавалась музыка, сквозь цельные стекла, с разноцветными гардинами, видны были горящие лампы, люстры и канделябры, картины в золотых рамах, бронза, вазы с цветами и проч.; в окнах мелькали иногда, как бы китайские тени[5], человеческие фигуры, — и вот прекрасный случай сказать с поэтом:

Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет.
.....
.....
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков...[6]

---

[5] Notes: 5
Вероятно, имеется в виду театр теней.

[6] Notes: 6
Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

и проч., и проч., и проч.

— Прекрасно, прекрасно, генерал! — повторил Вельский, ударив дважды, как бы в утверждение истины слов своих, рукою в руку.

В это самое время снова раздался из дому звук бальной музыки.

— Но что же есть общего, — спросил генерал, — между этой вечеринкой и мною?

— Очень много, — отвечал Вельский, — более, чем между поэзией и музыкой, между желанием и эгоизмом, между идеалом и его отблеском, великим умом и безумием, деньгами и всем на свете, — несравненно более, наконец, чем между Гомером и экзаметром.

— Все это для меня тарабарская грамота, любезнейший! — отвечал генерал, — ровнехонько ничего не понимаю!

— В таком случае я объяснюсь понятнее, — сказал молодой человек, улыбнувшись; но в улыбке его было что-то необыкновенное, странное: одним словом, какое-то фантасмагорическое слияние горькой и грешной насмешки с обыкновенною игрою мускулов. — Вот в чем дело, — продолжал он, — я приглашен на этот бал, или, лучше сказать, на эту дружескую маскарадную вечеринку; хозяин мне хороший приятель;

одним словом — все семейство премилое; вам скучно, генерал, — и вот прекрасный случай рассеяться; пойдемте вместе на вечеринку: хозяин и хозяйка вам будут от души рады. Вы найдете там лучшее общество… даже, как я слышал, будут читать стихи… поэзия, разумеется, домашняя; но когда же дружба бывает слишком взыскательна? Музыка, танцы…

— Но я не танцую, любезнейший! — сказал генерал.

— Бостон, вист…

— Я не играю в карты.

— Молодые девицы с их полувоздушными талиями, которые легко бы могли поколебать добродетель и самого старого анахорета и которых наши новейшие трубадуры, с их феодальными мандорами[7], верно уподобили бы очаровательным феям, танцующим при луне и чуть-чуть приклоняющим мураву легкими и стройными их ножками; одушевленная кинетозография[8], излияние сердца, остроты, шутки, игры, живые картины, дипломатика, — одним словом, есть тысяча средств приятно рассеяться на вечеринке,

---

[7] Notes: 7
Мандора — разновидность лютни.

[8] Notes: 8
Механический театр, прообраз кинематографа.

и особливо на такой, какова эта.

— Но я не знаком с хозяином, любезнейший!

— Зато я короткий приятель в доме, — отвечал молодой человек, — член одного семейства; и, как я уже сказал вам, хозяин и хозяйка — люди прекраснейшие — будут более чем рады, генерал, если вы их обяжете вашим посещением.

— Благодарю за честь, любезнейший! — отвечал генерал, — однако ж я лучше ворочусь домой и почитаю Библию: я остановился, кажется, на одиннадцатой главе Книги Бытия, и еще в первый раз в моей жизни. Ах! почтеннейший, рано или поздно, а все-таки надобно приняться за Библию.

Вельский захохотал почти во все горло…

— А который вам год, генерал?

— Да вот уж, брат, с прошлых заморозов стукнуло за половину пятого десятка.

— «Аще в силах — и восемьдесят» — сказано в этой же самой книге, — продолжал Вельский с насмешливою улыбкой. — Рано же вы, генерал, хотите отретироваться из-под знамен наслаждений жизни… Но не об этом дело; я знаю, что искушать пустынника есть только напрасный труд; впрочем, как бы то ни было, я неотступно зову вас на вечеринку. Вы встретите там несколько таких предметов, которые, ей-ей, будут в силах

вскипятить в вас стынущую от уединения кровь; и клянусь вам — всем, чем вы хотите, — что светленькие и черные глазки той красивой головки, которую вы там увидите, могут не хуже гальванизма привести в движение все нервы даже у самого мертвеца и — говорю по совести — должны решительно вскружить и вашу голову.

— Соблазнитель!.. — воскликнул генерал, улыбнувшись в свою очередь. — Перестань, греховодник! — продолжал он, — хоть ты и резов на слово, но как бы то ни было, любезнейший, а я все-таки пойду домой, дочитаю одиннадцатую главу Книги Бытия и потом, оградясь крестным знамением, лягу спать — и верно засну, с Божиею помощью.

К великому удивлению генерала, разговаривавшего, как мы уже сказали, под фонарем с Вельским, он приметил, что этот последний сделал ему какую-то ужасную гримасу и что какой-то туман начал его скрывать от глаз его, сквозь который едва приметное одно только лицо Вельского светило как пламень пожара при застилающем его дыме. Генерал протер себе глаза, чихнул несколько раз, почувствовав под носом серный запах, и, между тем как мысленно приписывал он причину этой странности преследовавшей его

скуке, Вельский снова представился глазам его в обыкновенном своем виде.

— Ахти, Господи Христе Иисусе! — воскликнула изумленная Матрена Прохоровна, перекрестившись невольно. — Ну, отец мой Сергей Сергеевич, что-то будет далее?

— Да, любопытно знать, — прибавил Савва Трофимович, — что окажется далее?

— Я не буду без нужды, — продолжал путешественник, — входить в подробности разговора Вельского с генералом. Скажу только, что неотразимое красноречие Вельского наконец восторжествовало и он убедил генерала пойти с ним на вечеринку.

Дорога была не долга: стоило только с тротуара набережной сделать несколько шагов через улицу.

Красивая и освещенная лестница, на последней площадке которой стоял гипсовый рогатый сатир колоссальной формы, вела в третий этаж того дома, куда пришли генерал с Вельским. Войдя в переднюю, генерал с трудом перевел дух, почувствовав в груди сильную одышку.

Лакеи встали, и один из них, в галунах и красной ливрее, снял шинель с генерала и плащ с Вельского.

Генерал и Вельский вошли в залу, где мужчины на нескольких столах играли в карты — статские, военные, придворные. Восковые свечи на ломберных столах горели в серебряных шандалах и, отражаясь в хрустале зеркал, украшавших простенки, представляли какую-то мечтательную галерею других фантастических гостей, со всеми их телодвижениями, или, лучше сказать, одушевленную космораму[9] существ оптических или идеальных. Вельский представил генерала хозяину, вошедшему в эту самую минуту из гостиной в залу, человеку уже более чем средних лет, почтенной наружности, с звездою на груди и с знаком отличия беспорочной службы на ленточке храбрых. При сих словах Савва Трофимович, с видом самодовольства, посмотрел на третью петлю левой полы своего фрака, где на владимирской ленточке рисовался золотой дубовый венок с четырьмя десятилетиями посредине.

— Я должен сказать вам, — продолжал путешественник, — что почтенный хозяин жаловался, однако ж, что его обочли годами по формуляру.

— Конечно, еще по новости и при самом начале, — сказал Савва Трофимович, чистя обшлагом

---

[9] Notes: 9

Косморама — картина, изображающая обширное пространство земли и предметы на ней так, что создается иллюзия живой природы.

свой знак отличия беспорочной службы.

— Без сомнения, — отвечал путешественник и продолжал далее. — После обыкновенных с обеих сторон учтивостей, извинений насчет туалета, нисколько не соответствовавшего бальной вечеринке, и благодарности за честь посещения хозяин ввел генерала в гостиную, где сидело несколько разряженных женщин по последней парижской моде, и представил жене своей, молодой и прекрасной даме, одушевлявшей беседу своею любезностию.

— И верно говорил по-французски? — сказала Пелагея Саввишна.

— Какой вопрос, мой ангел! — прервала старшая ее сестрица. — Разумеется, по-французски, потому что в хороших обществах не говорят по-русски, да это и не в тоне. Не правда ли, Сергей Сергеевич, что верно ведь говорили по-французски?

— Без всякого сомнения, — отвечал путешественник, — вечеринка была одною из лучших и самая блистательная.

— Ах, вы мои зяблицы!.. — воскликнула Матрена Прохоровна. — Ну, отец мой Сергей Сергеевич, хозяин с генералом вошли в гостиную…

— Да, — продолжал путешественник. — Ты-

сячию любезных учтивостей прелестная наша хозяйка явила признательность свою генералу за то неожиданное удовольствие, которое доставлял он им своим знакомством. В самых блистательных цветах французских фраз благодарила она гостя, который, худо понимая по-французски или, лучше сказать, вовсе не понимая и, следственно, всегда охотнее объясняясь на языке отечественном, должен был, к сожалению, отвечать по-русски и складывал всю вину на Вельского…

— Quelle horreur![10] — прошептала вполголоса Степанида Саввишна.

— Напротив, генерал, — отвечала хозяйка (продолжал путешественник), — Вельскому-то именно я и должна быть благодарна, — и бросила такую улыбку на молодого человека, от которой запрыгало бы и оледенелое сердце анахорета. — Наконец, генерал, — сказала она, — прошу вас быть без церемоний, как дома: никогда не бывали вы на такой дружеской и единодушной вечеринке.

— Как нравится вам хозяйка, генерал? — спросил Вельский.

— Она очаровательна; что за глаза, какие розы

---

[10] Notes: 10
Какой ужас! *(фр.)*

в щеках, зубы как жемчуг; а улыбка, любезнейший!..

— О! да это поэзия, генерал!

— Поневоле будет поэзия, любезнейший, как поцелуешь такую нежную и пухленькую ручку…

— Завидую вашей участи, — отвечал Вельский с насмешливою улыбкой, которой, однако ж, собеседник его не заметил. И в самом деле, генерал стал веселее и разговорчивее. — О! то ли еще вы увидите!.. — сказал Вельский. — Но слышите ли вы пленительные звуки мазурки? Пойдемте взглянуть на маски, на танцы и посмотрим на воздушных прелестниц.

— Соблазнитель!.. — прошептал генерал, погрозив ему пальцем.

Они вошли в залу.

Зала была блистательна и великолепна. Тысячи восковых свеч отражали блеск свой в кристалле зеркал и на паркете. Портреты в золотых рамах, все в рост, были так живы, что, как говорит один из великих наших поэтов, хотели, казалось, сойти со стен и принять участие в общем веселье; мраморные статуи ожидали только благоприятной минуты, чтобы спрыгнуть со своих пьедесталов. Одним словом, это был храм очарований. Прибавьте ко всему этому пестроту и ослепительный

блеск костюмов, ароматы с кудрей красавиц и платков молодых франтов, музыку, живые гирлянды и букеты танцующих — и вам не трудно будет дорисовать картину.

— Клянусь блистательным усом пророка! — воскликнул Вельский, — если бы я был великим султаном, в гаремах моих было бы столько одалисок, сколько роз в садах моих; но все эти девицы и дамы были бы лучшим цветом моих гинекеев[11]: все они так прелестны!

Генерал, щурясь, пристально всех их рассматривал.

И в самом деле, вечеринка была блистательная!

Некоторые из дам и кавалеров были в костюмах и масках, другие без масок.

— Посмотрите, как ласково этот голубой атласный корсет обнимает полувоздушную талию этой молодой андалузянки, с блестящими, как жемчуг, зубами; кажется, он весь прилип к ней, нет ни одной складки, ни одной негладкости: белая, пышная кисейная юбка, опущенная немного ниже колен, свободно и без ревности дает видеть ненасытным глазам стройную и прелестно

---

[11] Notes: 11

Гинекей — женские покои в древнегреческом доме.

округленную ножку, которую с жадностию обхватывает черный бархатный башмачок, почти весь открытый и с маленькою золотою пряжкою: не слышно, как она ступает; при каждом полете ее голубая атласная подвязка блестит и мелькает, заставляя сердце упоенного любовника трепетать учащенным биением… О Урсула блаженная! разве не видите вы, как страстно он прижал ее к пламенеющей груди своей, прежде чем выпустить ее из своих объятий и передать другому кавалеру… между ними один только воздух. Но не грусти, молодой человек, ты ненадолго с нею расстался!.. К каштановым волосам ее приколота роза. Как пленительна и эта белокурая девушка в малиновом сарафане; как пристала к голубым глазам ее эта серебряная глазетовая повязка; белые руки ее обнажены по локоть, как милы эти красные сафьянные чеботцы; в косу ее вплетена алая лента. Святые угодники! какой пышный бант в этой русой красе девичьей!.. А ты, таинственная незнакомка, — кто ты, очаровательница? Какой пленительной белизны, какой сладострастной округлости твои обнаженные руки; как обольстителен этот золотой браслет на этом снегоподобном мраморе с голубыми жилками; мягкие и как шелк блестящие кудри

твои, чародейка, рассыпанные по твоим плечам алебастровым, чернее потухшего угля; все формы ее прелесть и воздух; все движения — жизнь и гармония; нет слов в звуках языка человеческого, нет красок на палитре Рафаэлевой, чтобы изобразить эту волшебницу: если бы я был Праксителем или Кановою[12], клянусь вам знаменитым прахом всех катакомб римских, я бы пошел на пытку и плаху, чтобы мне изваять только с нее статую!.. Силы небесные! свейте эту ревнивую маску с лица прелестницы!..

Какая блистательная смесь кадрилей и одеяний!.. Как мила эта пышная роза на груди этой молодой итальянской садовницы; и как печален этот прелестный букет в руках этой старой ведьмы!..

А этот господин в красном французском кафтане с стразовыми пуговицами, из-под фалд которого, сзади, виден закорюченный хвостик; в напудренном парике с пуклями, который прорезывают два небольших и блестящих, как отполированный агат, загнутых рога; с дворянскою шпагою восемнадцатого столетия и с собачьей мордою?.. Клянусь вам, если бы это не была толь-

[12] Notes: 12

Праксителъ — древнегреческий скульптор IV века до нашей эры; Антонио *Канова* (1757–1822) — итальянский скульптор-классицист.

ко маскарадная вечеринка, его бы можно было назвать самим Сатаною!..

Взгляните на эту молодую савоярскую крестьянку, роскошную, как весна в своем цвете: она ласково сидит на коленях у своего мужа; левую руку свою, обвив ее около шеи своего друга, она положила ему на голову, подняв вверх два пальчика, прелестные, стройные, с блестящими и розовыми ногтями, обведенными по краям опалом или перламутром — большой и указательный: другою нежно держит она его за подбородок, приподняв ему немного голову, и говорит: «Посмотрите, как он любезен!» Картина и группа прелестная!..

И генерал не знал, на которой из очарователь-ниц остановить ему глаза свои. Он чувствовал, что ему легче, веселее, игривее; что он смотрит на предметы, как они представлялись ему лет за пятнадцать, то есть ярчее, живее, цветистее; что кровь течет резвее по жилам его: столько-то справедливо, что есть звуки, формы и фантазматы, которые имеют силу магическую, и что сердце никогда совершенно не стареет!

И вся станционная компания — и сам даже офицер внутренней стражи (за исключением доктора Генкера, который, с закрытыми уже

глазами и в степенной неподвижности, опустил бесконечный и перпендикулярный нос свой в недопитый им еще стакан пунша), — и вся станционная компания, повторяю, была внимание и нетерпение.

Я не буду описывать вам, — продолжал путешественник, нимало не заботясь о том, чтобы скорее удовлетворить любопытству своих слушателей, — я не буду описывать вам костюмов, кадрилей и масок; это бы значило употреблять во зло ваше терпение; скажу одним словом, что все они более или менее отличались вкусом и выбором; но были, однако ж, и маски странные, фантастические: например, тут ходила лошадиная нога, там ветряная мельница, размахивая своими крыльями; здесь летал безобразный нетопырь, там выступал скелет отвратительный: от всепожирающего разрушения уцелели одни только глаза, страшно вращавшиеся в их костяных орбитах; тут поражал зрение могильный вампир с окровавленною пастью, в истлевшем саване и с такими же волосами, готовыми разлететься пеплом при первом на них дуновении; там, вроде гнома, катилось что-то похожее на колесо без обода, и в ступицах коего, по обеим сторонам, пылали два страшные глаза, а вме-

сто спиц торчали уродливые и тинистые руки; одним словом, противуположность была блистательная: жизнь, цветы и прелесть сливались с безобразием и гнусностию и, обратно, безобразие и гнусность были смешаны с жизнию, цветами и очарованием. И в самом деле, то была прелестная маскарадная вечеринка!

— А! — сказал Вельский, — вот к нам подходит та красивая головка с светленькими и черными глазками, о которой я говорил вам. Не правда ли, генерал, что она мила, очаровательна? Нет, кажется, ничего необыкновенного — а вся прелесть! Глаза как брильянты!

Музыка заиграла польский. Она с любезностию пригласила генерала на танец; и мог ли он отказать ей? Генерал вспомнил свои юные годы, шаркал, подавал руки с грациозностию и не забыл даже ни одной фигуры в своем полонезе. О! как оживляют сердце красота и молодость! Наконец все хлопнули в ладоши, и из степенных, медленных тонов оркестр слился в живые и быстрые звуки вальса; и все закружились — и все кружились, кружились, кружились. Генералу казалось, что вихрь уносит его, что под ногами его исчез пол, — он смотрит на свою даму… Творец небесный! У нее, как флюгер, вертится головка

на плечах — и какая головка! Она хохочет, мчит, увлекает его, не выпускает из своих объятий, кружит, как водоворот; он едва дышит, он готов уже упасть… но музыка стихла, и генерал в ту же минуту, как будто бы не вальсировал, как будто бы вовсе не чувствовал усталости. Однако ж он отер пот, катившийся с него градом.

Подали чай, прохладительный; Вельский не оставлял почти ни на минуту генерала, который, несмотря на то что никогда не был охотником до наблюдений, не мог, однако ж, не сделать ему одного замечания: «Я согласен, — сказал он, — что все эти девицы и дамы очень милы; но отчего, любезнейший, у некоторых из них козлиные ножки, у других копытцы, у третьих гусиные лапы?»

— Это шалость молодости, игра воображения — одним словом, маскарадная утонченность, — отвечал Вельский.

— Проказницы! — сказал генерал, — ведь умели же ухитриться!

— Да и как! — прервал Вельский, указывая на некоторых из костюмированных мужчин, — вздумали, как вы видите, приставить рожки мужьям своим.

— Ну, это еще куда бы ни шло, — отвечал генерал, — копытцы-то, любезнейший, копытцы —

даже и у этой красивой головки с брильантовыми глазками, — хоть правду сказать, уж чересчур вертлявой.

Вельский, при всем желании своем, не мог удержаться от смеха.

Звук оркестра снова прервал разговор их. Хозяйка подала генералу руку, и он опять не мог отказаться, чтобы не принять участия в танцах. Французская кадриль развилась во всей своей прелести; когда же она обратилась наконец в вакхический тампет[13], то все зашумело, захлопало, запрыгало: оркестр гремит, шпоры бренчат, стук, хлопотня, топот — настоящая буря! Генерал прыгает, хлопает в ладоши, скачет как сумасшедший; из окон, с улицы, кивают ему какие-то безобразные рожи; в глазах его все летит, все мчится… Глядь на стены: рамы пусты; смотрит: на пьедесталах нет статуй. Иаков II прыгает с Анною Бретанскою, Генрих IV скачет с прабабушкою хозяйки, Людовик XIV поймал Семирамиду, Аполлон Бельведерский пляшет вприсядку с царицею Савскою, фельдмаршал Миних ударил трепака с Венерою Медицейскою; стены трясутся, стеклы звенят, свечи чуть-чуть не гаснут, пол

---

[13] Notes: 13
Старинный французский танец.

ходит ходнем… кутерьма да только — точь-в-точь дьявольский шабаш!.. Но оркестр снова замолк — и все пришло опять в прежний порядок.

Надобно было, признаюсь вам, всего влияния Вельского на ум генерала, чтобы успокоить его мысли. В молодости своей он бывал на балах и в маскарадах; но никогда еще не видал, чтобы оживали мертвые, чтобы плясали картины и статуи. Но красноречие Вельского изгладило из мыслей генерала всякое сомнение. Столько-то справедливо, что дар слова не вовсе же бесполезен.

Вы согласитесь, — продолжал путешественник, — что танцы могут иногда наскучить и что разнообразие составляет прелесть жизни. Французская кадриль и вальс были заменены игрой в фанты. О! как прелестна эта игра в фанты! Молодая девушка, которая с открытыми глазами никогда бы не осмелилась прикоснуться к вам пальчиком, с повязкою на глазах, напротив, садится беспечно к вам на колени; поцелуи позволены; одним словом, это поэзия романтическая. Не отказавшись уже от танцев, от тампета вакхического, этого дифирамба Терпсихоры[14], мог

---

[14] Notes: 14

Терпсихора — древнегреческая муза танца.

ли генерал не принять участия и в самой игре в фанты? Труден обыкновенно только первый шаг. Наконец, когда в свою очередь вынулся фант генерала, хозяйка, королева игры, предложила ему спрыгнуть с *комода*. Дело, кажется, было не трудное: стоило только стать на стул, потом на комод — и сделать прыжок; но у генерала, как говорится, замирало сердце от страха. Три раза он уже готов был спрыгнуть, стоя на *комоде*, как бы какой-нибудь народный оратор на пивной бочке, — и снова три раза не мог он решиться. Все шутили, смеялись, никто не хотел верить, что он бывал в сражениях, что на приступах ему случалось обрываться с парапетов. «Ну! благослови Господи!» — сказал наконец генерал — и перекрестился… Свечи, гости, зеркала, люстры, картины, статуи — все вдруг исчезло, и генерал очутился, один-одинехонек, ночью… где бы вы думали? На лесах в четвертом этаже.

— С нами крестная сила! — воскликнула Матрена Прохоровна, — с нами крестная сила!.. Ну что, если бы он спрыгнул, мой родимой, с четвертого-то этажа на мостовую?..

— Тогда бы он непременно убился до смерти, — отвечал полицмейстер, — и тело его на первый случай было бы взято в полицию.

— Дело важное, криминальное! — воскликнул Савва Трофимович.

— Позвольте заметить вам, — возразил офицер внутренней стражи, обращаясь к Сергею Сергеевичу и думая поймать его в злоупотреблении, — вы, кажется, сказали, что вечеринка была в третьем этаже.

— Э! помилуйте, — отвечал путешественник, — что значит для Сатаны подняться на этаж выше? — И офицер замолчал, убежденный неотразимым доказательством путешественника.

— И эта гистория действительно достоверная? — спросил Савва Трофимович.

— Не подверженная ни малейшему сомнению, — отвечал путешественник, — я слышал ее от самого генерала, который только что оправился от *белой горячки*.

Н. А. Бестужев. Шлиссельбургская станция. Истинное происшествие

Посвящено А. Г. Муравьевой
Одна голова не бедна,
А и бедна – так одна.

Старинная пословица



Несколько лет тому назад мне надобно было съездить из Петербурга, по делам матери моей, в Новую Ладогу. Когда я совсем собрался, она позвала меня в свою комнату, повторила все наставления, слышанные мною уже несколько раз, и потом прибавила: «по окончании дел в Ладоге, как я тебе сказала, ты должен заехать к нашим соседям Н. и С. …Я хочу того: во-первых, потому, что дома наши связаны старинной дружбою, во-вторых, что у обоих милые дочери и достойные невесты. Может быть, судьба укажет тебе на которую-нибудь из них, и ты составишь себе такую партию, какую бы я хотела для тебя.

Ты знаешь всегдашнее мое желание — видеть тебя женатым: я возрастила и воспитала тебя в надежде няньчить моих внучат. Ты старший в семействе, тебе уже тридцать два года, и до сих пор, по какому-то непонятному для меня упрямству, ты не слушаешь моих советов, не устроишь своей судьбы, не осчастливишь меня исполнением любимой моей мечты — видеть в тебе продолжение нашей фамилии. Берегись холостой старости; я не уважаю старых холостяков!» Мать моя плакала, говоря эти слова; я отвечал общими фразами, что час мой не настал, что я еще не встречал той, которую бы избрало мое сердце, обещал внимательно рассмотреть предлагаемых ею невест, и мы вышли в зал, куда собралось все наше семейство.

Почтовая тройка стояла у ворот; чемодан был вынесен; я стал прощаться и думал, поцеловавшись со всеми, сесть на тележку и ехать, но должно было заплатить дань старине. Меня посадили, мать и сестры сели, мальчик, ехавший со мною, был также посажен, даже горничная, вбежавшая сказать, что извозчик торопит, подпала той же участи: «садись», — сказала ей повелительно матушка; девушка осмотрелась кругом, взглянула на матушку, как будто желая выразить,

что ей совестно сидеть с господами, но при новом приказании села на пол, удовлетворяя в одно и то же время и господскому приказу и рабской разборчивости. Несколько минут продолжалось благочестивое молчание, потом все встали и, оборотясь в передний угол, помолились висевшему там распятию. Матушка благословила меня, шепнув, чтоб я не забыл ее советов, простилась, дала поцеловать руку моему мальчику, и я, обняв сестер, спрыгнул с лестницы, вскочил на тележку и исчез, посылая поцелуи рукою в ответ белым платкам сестер, махавшим из окошек.

Итак, меня посылают выбирать невесту! Матушка серьезно хочет меня женить; но об этом надобно подумать да подумать поскорее; в самом деле, в мои лета не надо долго размышлять, а в дороге об чем же и думать?

Но если б спросили меня, что я думал дорогою? — я бы отвечал: ничего! На почтовой тележке не так-то ловко размышлять: того и смотри, чтоб не вылететь из повозки. Осенняя погода покрывала меня, дождь и ветер крепче закутывали в шинель, и я чаще повторял ямщику: «пошел».

За мной остались Пелла и Славянка; я уже подъезжал к Шлиссельбургу, но как человек, служивший на море и редко имевший случай

ездить сухим путем, особенно в русском почтовом экипаже, очень чувствовал разницу между сухопутным и водяным сообщением, хотя в настоящем случае я имел бы право сказать, что еду по морю грязи, сопутствуемый прыжками, толчками и ухабами. Налево изредка только открывалась сердитая Нева, катившая быстро свои волны, или какая-нибудь дача, заставлявшая меня высовывать нос из шинели. Мне хотелось полюбоваться каким-нибудь видом, но дождь закрывал все отдаленные предметы, а ранняя осень обезобразила все картины, обнажив почти деревья; желтые листья, сорванные ветром, неслись с дождем, перегоняя мою повозку. Наконец, избитый и мокрый, не отдохнув взором ни на одном предмете, я увидел Шлиссельбург! Мы въехали в город, и, странное дело! первый предмет, привлекший мое внимание, был аист, свивший гнездо свое на трубе почтового дома. Он стоял и важно поглядывал кругом, как будто обозревая небосклон и замечая, с которой стороны очистится небо, чтобы судить о будущей погоде, может быть, для задуманного им путешествия. Я в первый раз увидел эту птицу в наших северных странах и спросил у извозчика: водятся ли эти птицы здесь? «Нет, барин, прежде не видать

было, — отвечал он, — а эта уже четвертый год, каждую весну здесь выводит детенышей и улетает осенью на теплые воды. Дивлюсь, что она еще здесь, ей давно пора лететь».

— Она умнее меня и не хотела пуститься в дальний путь в такую скверную погоду, — сказал я, слезая у почтового дому с повозки и стряхивая шинель, с которой текла вода ручьями!

Станционный смотритель равнодушно объявил, что лошади все в разгоне, и как я ни представлял обыкновенных крайностей путешествующих, он отвечал обыкновенными резонами почтовых смотрителей, обещая лошадей не ранее как через час. И действительно, несмотря на мое нетерпение, ровно час прошел, пока возвратились лошади. Я стоял у окна и смотрел, как их перепрягали в мою повозку. Дождь не переставал; крупные капли стучали в окна и лились ручьями по стеклам. Бедные животные, уже пробежавшие свой урок, должны были вновь заучивать его со мною; пар подымался столбом с их осунувшихся боков, которые раздувались, как мехи, от усталости; они стояли, опустя головы, и потряхивали ушами, когда дождевые капли туда попадали. Колокольчик на дуге издавал унылые звуки; не менее того он производил на

меня приятное впечатление, предвещая, что я скоро сяду и покачусь после скучного ожидания. Но человек предполагает, а Бог располагает: послышался другой колокольчик, и вскоре карета, запряженная в шесть лошадей, а за нею повозка прискакали к станции. Минута ранее — и я бы уехал; теперь это было невозможно, потому что проезжий был сенатор Баранов, ездивший в некоторые губернии помогать жителям, умиравшим с голоду от неурожая, — и следственно мои и еще какие-то лошади были запряжены в карету его превосходительства, а я снова остался горевать в ожидании.

Сенатор вошел в комнату, вежливо поклонился, завел разговор о нашей морской службе; рассказывал о поручении, ему сделанном, и очень скромно похвалился, что из данных ему трех миллионов на вспоможение он не истратил ни копейки. Когда же перепрягли карету, он с большою деликатностью извинился, что отнял у меня лошадей, и уехал.

Исчезла и моя надежда на скорую отправку. Все лошади, сытые и голодные, повезли сенатора, а мне-то что делать? Прежде я ждал как проезжий, теперь остался как жилец. Пришлось знакомиться с своею квартирою и хозяевами. От нечего

делать я начал осмотр: небольшая комната была разгорожена надвое; передняя служила и присутственным местом, и спальней смотрителю; в ней у одной стены стояла кровать, у другой под окном — стол; у разгородки изразцовая лежанка выдавалась, вроде русского очага, на половину для проезжих, где и мебель была позамысловатее: кроме софы, нескольких дубовых стульев с кожаными подушками и стола, стояла в одном углу кровать с ситцевыми занавесками, в другом — шкаф, из-за стекла которого видно было несколько фарфоровых чашек разной фигуры с ручками и без ручек, склянки с лекарствами, помадная банка с солью, штоф с какой-то жидкостию, где плавало несколько ягод рябины, опрокинутая рюмка без ножки и полдюжины медных ложек и ложечек в прорезях на полочках. По стенам развешано было несколько картинок, над столом зеркало и деревянные часы. Я со скуки пересмотрел все эти редкости, прочел все надписи на картинках, из которых одна только строчка стихов под портретом Кутузова осталась в моей памяти: *Кутузов приими не лестный све-*

та глаз![15]

Что это, не намек ли?..

Начинало смеркаться; я велел внести мою шкатулку и подать чаю; подойдя к окну, я рассматривал, сколько позволяла погода, представлявшуюся мне картину. Чрез домы на противоположной стороне улицы проглядывали по временам, сквозь дождь, стены и башни Шлиссельбургского замка, поставленного на острове посреди Невы, при самом ее истоке из Ладожского озера… Полосы косого ливня обрисовывали еще мрачнее эту и без того угрюмую громаду серых плитных камней; влеве Нева терялась за домами; вправо озеро глухо ревело, переменяя беспрестанно цвет поверхности, смотря по силе порывов и густоте дождя, — и я в первый раз дал свободу своим мыслям, которые до сих пор сдерживались или толчками, или ожиданием. Какое-то грустное чувствование развивалось во мне при виде этих башен. Я думал о сценах, которых стены были свидетелями, о завоевании Петра и смерти Уль-

[15] Notes: 15

Этот портрет гравирован известным художником Карделли. Его же гравирования есть два эстампа: путешествие Екатерины по России и восшествие на престол Александра I. *Прим. авт.*

риха[16], — о вечном заключении несчастных жертв деспотизма. Мысли невольно останавливались на последних: может быть, думал я, много страдальцев гниет и теперь в этой могиле. Сколько человек, мне известных, исчезли из общества, и тайна их участи осталась непроницаемой. Но за какие преступления, за что, по какому суду осуждаются они на нравственную смерть? Все, что относится до общества и его постановлений, до частных людей и сношений их, ограждено законами; преступления против них публично наказаны; но здесь лица бессильны, преступления их тайны; наказания безотчетны, и почему?.. Потому что люди служат безответною игрушкой для насилия и самоуправства, а не судятся справедливостью и законами. Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества? Когда же это общество, строющее здание храма законов, потребует отчета в законности и Бастилий и Шлиссельбургов и других таких же мест, которых одно имя возмущает душу? Люди! Люди! Вы привыкли сами спутывать себя узами, вы привыкли носить це-

[16] Notes: 16

Царь Иван VI, свергнутый с престола и заточенный в Шлиссельбургской крепости, где был убит стражниками по секретному приказу в 1764 году.

пи; властелины ваши знают это и накладывают на вас новые тяготы; вы думаете, что этому так быть надобно. Горе вам, если вы этому не верите. В таком настроении духа я сел за чайный столик.

Выдумка чая прекрасная вещь во всяком случае; в семействе чай сближает родных и дает отдых от домашних забот; в тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе; кажется, что кипящий напиток согревает сердца, располагает к веселости и откровенности. Старики оставляют подозрительный вид и делаются доверчивее к молодым; молодые становятся внимательнее к старикам. В дороге чай греет, в скуке за ним проводишь время. Одним словом, самовар заменяет в России камины, около которых во Франции и Англии собираются кружки.

Чтобы составить кружок, я пригласил к чаю смотрителя и его жену. Хозяйка, которой наряд состоял в повязке на голове и камлотовой юбке, принимая мое приглашение, набросила на плечи черный шелковый платок и скинула головную повязку, чтобы показать, что она не из простых, а носит косу с воткнутым в нее роговым гребнем.

Она пила чай вприкуску; после четырех чашек с крайнею учтивостию опустила назад в сахарницу обгрызок сахара, оставшийся от ее экономных зубов.

— Давно ли вы здесь на станции? — спросил я смотрителя.

Он хотел отвечать, но как в эту минуту он только что хлебнул горячего чаю, то ответ его выразился одним невнятным звуком и потом кашлем. Словоохотная хозяйка предупредила его: «О зимнем Миколе[17], батюшка, будет восемь лет, как мы попали на это место, и восемь лет мыкаем горе на этой станции; тракт малоезжий; купечество ездит на долгих или на наемных; а кроме купцов только офицеры да фельегари».

… — Куда же ездят эти фельдъегери?

Смотритель хотел было отвечать, но жена перебила и не смотря, что он кивал головою, раза два крякнул, она продолжала:

— Куда? Прости господи! Не ближе и не далее здешнего места… Разве, разве, что в Архангельск; да туда пусть бы их ехали с Богом, а то не пройдет месяца, чтобы не привезли в эту проклятую крепость на острове какого-нибудь бедненького

---

[17] Notes: 17
6 (19) декабря.

арестанта.

— И вы видаете этих арестантов?

— Куда тебе! Нет, родной, никогда не видаем. Приедут всегда ночью и прямо на берег, не заезжая сюда. Я бегала не раз на реку, да только и видела, что повозку; жандармы и близко не подпускают; фельегарь крикнет с берегу — с крепости зарычат каким-то дивным голосом; приедет катер: сядут, поедут, и бедняжка как в воду канет. Только по утру, как снег на голову, наскочит подраться да побраниться, да уехать, не заплатив прогонов…

— Что же у вас говорят, как живут арестанты?

— Что говорят, родимый! И бог весть каких страстей не рассказывают — а все мы досконально не знаем. Съезжают оттуда солдаты, да редко; и на тех человечья виденья нет: худы, да тощи, да бедны, — и они, бедняжечки, там на затворе. Спросим, ничего не говорят; а станем пытаться, так я не раз видела, как иного дрожь возьмет, а все толку не добьешься. Видно, что страшно.

— Ваше высокоблагородие, — начал, закашляв, смотритель, — это… — но жена не дала ему кончить и прервала снова, но почти шепотом:

— Говорят, что там тюрьмы как колодцы: ни свету божьего, ни земли, ни воздуху; душно как в

могиле; каждый сам по себе, и ни встать, ни сесть, ни лечь. Есть подают в окошечко, и бедняжечка не слышит никогда ни голоса, не видит ни лица человечьего: только он да часовые кругом.

— Стало быть, их мучат, их убивают прежде времени?

— Нет, батюшка, мучить не мучат и убивать не убивают, а говорят: что уж коли надобно кого сжить со бела света, так закопают по уши в землю, да и оставят умирать *своею смертию*.

Сколь ни нелепы были рассказы хозяйки, но, откинув преувеличения, откинув то, что относилось к мучениям физическим, достаточно быть похороненным заживо в этом гробе, чтобы с нравственными страданьями намучиться, умирая *своею смертию*.

Я встал из-за чая в неприятном расположении духа, спросил о лошадях и на отрицательный ответ начал ходить по комнате; здесь мне впервые после выезду пришло в голову желание матушки, чтоб я женился. Странное сцепление идей! Но в этом случае мысль, перебегая с предмета на предмет, невольно обращалась к тем, которых лишение было бы последствием исполнения печальных моих предчувствий. «Матушка хочет этого, — думал я, — это естественно; я сам

чувствовал пустоту в сердце, мне чего-то недоставало, даже в кругу милого мне семейства, между достойных моих сестер и братьев. Я думал об этом, когда страсти мои волновались сильнее, когда каждая девушка казалась мне идеалом совершенства, я думал и выбрал; но судьба похитила у меня избранную; смерть разлучила нас. С тех пор воображение сделалось прихотливее, вкус разборчивее, чувства не так пылки. Я создал новый идеал и равнодушно смотрел на женщин, сравнивая их с моею мечтой. За всем тем, безумный! я еще думал жениться! Теперь я вижу яснее, что не могу располагать собой, не могу связать судьбы своей с избранной мною подругой жизни!..

«Я собственность благородного предприятия; я обручен особым союзом — и так могу ли я жениться? Стоя на зыблющемся волкане, захочу ли я привлечь к себе подругу, избираемую для счастия в жизни нашей, чтобы она, не зная бездны под ногами своими, вверилась мне и вверглась вместе со мною в пропасть, ежеминутно готовую раззинуться».

Так я рассуждал, а между тем дождь усиливался, ветер свистал в окошки, на дворе стало совсем темно, а лошадей все еще не было. Наконец, я

решился остаться ночевать, несмотря на свою скуку, потому что ехать ночью, в такую погоду, еще скучнее. Зажгли свечи, я открыл шкатулку; со мною было английское Стерново «Чувствительное путешествие»; я развернул книгу и сел читать: как нарочно, открылось то место, где Стерн говорит о Бастилии:

…я представил себе все жестокости заключения. Мое сердце было расположено к этому, и я дал полную волю воображению.

Я начал миллионами мне подобных, но находя, что огромность картины, сколь она ни была разительна, не позволяет приблизить ее к глазам и что множество групп только развлекали меня, я представил себе одного заключенного, запер наперед его в тюрьму, потом остановился посмотреть сквозь решетку двери, чтобы срисовать его изображение.

Я увидел, что тело его исхудало и высохло от долгого ожидания и заключения; я чувствовал, как сильна сердечная болезнь, рождаемая отлагаемой надеждой. Посмотрев пристальнее, я заметил, что

он был бледен и истомлен лихорадкою. В тридцать лет восточный ветер ни разу не освежил его крови. Он не видал ни солнца, ни месяца во все это время – и ни однажды голос друга или родного не проникал сквозь эту решетку; его дети…

Но здесь мое сердце облилось кровью, – и я принужден был приступить к другой части моего изображения.

Он сидел в углу на небольшом пуке соломы, служившей ему вместе и стулом и постелью. В головах лежал род календаря из маленьких палочек с заметками печальных дней и ночей, проведенных им в темнице. Одна из этих палочек была у него в руках; он царапал на ней ржавым гвоздем новую заметку еще одного дня бедствия в прибавку к прежним – и как я заслонял последний свет, доходивший до него, – он поднял безнадежные глаза на дверь, опустил их, покачал головою и продолжал свою горестную работу. Я слышал звук цепей, когда он поворотился, чтобы положить палочку в связку с другими. Он тяжело вздохнул; я видел, что это железо въедалось в его душу, – я

залился слезами и не мог выдержать долее зрелища, созданного моим воображением…

Боже мой, в двадцатый раз читаю я это место, но еще впервые оно так на меня подействовало! Рассказ хозяйки, картина Стерна, задержка лошадьми, собственные предчувствия… мне кажется, что Шлиссельбург уже обхватывает и душит меня как свою добычу. «Так, — сказал я сам себе шепотом, боясь, чтобы меня не подслушали. — Я имею полное право ужасаться мрачных стен сей ужасной темницы. За мной есть такая тайна, которой малейшая часть, открытая правительству, приведет меня к этой великой пытке. Я всегда думал только о казни, но сегодня впервые явилась мысль о заключении».

Долго я ходил по комнате, приучая воображение к тюремной жизни, страшно проявлявшейся в разных образах предо мною; наконец фантасмагория моих мыслей прояснилась, припомнив, что года три или четыре назад, познакомясь с комендантом Шлиссельбургской крепости, я отвечал на зов его к себе в гости, что постараюсь сделать какую-нибудь шалость, за которую провинность доставят меня к нему на казенный счет. Тогда

я еще не имел в виду цели, которая могла бы оправдать мою шутку.

Я сел снова к столу, взял лист бумаги, чертил на нем разные фигуры, карикатурил знакомые лица, читал опять Стерна, писал на него сентенции, свои мысли; рисовал узника в темнице, чертящего на палочке заметку, думал о желании матушки, вставал, ходил, наконец погасил свечу и, скинув сюртук, бросился в постель, чтоб уснуть; но сон бежал моих глаз, — я только что вертелся с боку на бок.

В другой комнате хозяйка лежала нераздетая на своей кровати и храпела; супруг ее сидел за столом и читал вслух четьи-минеи, и это чтение имело усыпительное действие на хозяйку: как скоро он понижал голос или переставал читать, чтобы понюхать табаку из стоявшей подле него берестовой тавлинки, она переставала храпеть, начинала шевелиться или совсем просыпалась. Я сначала думал, что расстановки в чтении делаются неумышленно; однако, взглянув в висевшее над столом зеркало, в котором отражался мой хозяин, увидел, что каждая остановка сопровождалась покушением встать. Но как скоро он замечал, что любезная его половина просыпалась, он садился снова и начинал читать громче

прежнего. Наконец после многих опытов, когда убедился, что чтение подействовало как следует, тогда, сняв очки и спустив туфли, он на цыпочках вошел в мою комнату, посмотрел, сплю ли я, отворил шкаф, взял безногую рюмку, налил в нее из штофа водки, выпил, отломил корочку хлеба, посолил, съел и отправился тем же порядком на свое место. Та же комедия начиналась снова: жена по временам просыпалась, делала кой-какие вопросы, он отвечал чтением и таким образом сходил в шкаф в другой и в третий раз; но после этого бодрость его видимо увеличилась: он перенес к себе весь штоф, положил подле себя хлеб, воткнул в него безногую рюмку и начал попивать, закусывать, читать нараспев, икать и заикаться при житии Иоанна Постника.

Меня занимало праздничанье этого доброго человека; по крайней мере при бессоннице лучшего нечего было делать. Изменническое зеркало передавало мне верно все наслаждения и все забавные страхи хозяина. Наконец он заснул в очках на носу над книгою, а я предался снова мечтам, снова думал о женитьбе, потом о намерении никогда не жениться, а между тем какой-то женский идеал носился в моем воображении против моей воли и занимал меня до 10 часов.

В это время между порывом бури послышался колокольчик. Через несколько минут застучали по мостовой колеса, раздался на крыльце крикливый женский голос, и вслед за тем передняя комната наполнилась людьми. Я различал женские и мужские голоса; зеркало передавало мне мимолетные черты, потому что люди шевелились, переходили с места на место, но я не мог никого рассмотреть. Хозяйка вскочила; смотритель проснулся, встал и, опершись на стол руками, повторил обыкновенный свой напев: «ло-ошадей не-т-с!»

Тоненький и светлый женский голос, который приятно отозвался в моем ухе, отвечал ему, что они едут на своих и остановились поправить карету, испортившуюся от дурной дороги. Тот же голос приказал слуге поспешить поправкой, чтобы скорее ехать вперед.

— Помилуйте, Любовь Андреевна, — вскрикнул другой женский голос, не перестававший лепетать ни на одно мгновение, — *я говорила,* что по эдакой дороге нельзя ехать. Песок, дождь, слякоть, ветер; мудрено ли, что карета изломалась. *Я говорила,* что лучше бы остаться нам за Черною; *я говорила,* что придется нам здесь маячить; так уж лучше хорошенько здесь отдохнуть и со

светом пуститься в дорогу. *Я говорю,* что ночью худо починивать карету, когда ни зги не видно, а ветер задувает свечи даже в каретных фонарях. *Я говорила,* что это преставление света.

— Любезная Анисья Матвеевна, мы здесь ночевать не будем; вам же все равно в карете, — идет ли дождик, или светит месяц. Вы там сухи и спите, кажется, покойнее, нежели в постеле.

— Господи боже мой! покойнее, нежели в постеле! да вы спросите, — как у меня души не вытрясло из тела? *Я говорила,* что с вами не сговоришь. *Говорила я,* что эти молодые барыни не хотят слушать ни разума, ни совета; да по крайней мере, отдохните и успокойтесь хоть минуту, а то *я говорю* вам, что вы приедете в Питер на себя не похожи.

— Я не устала и не хочу отдыхать, я спокойна только буду в Петербурге. Ложитесь вы и не сердитесь, когда разбужу вас чрез полчаса, — вероятно, карета в это время будет готова.

Толстая женщина лет сорока, довольно неприятного вида, вошла ко мне в комнату, ворча, со свечою. Я не намерен был уступать этой даме на полчаса постели и потому притворился сонным, избегая необходимости вставать, надевать сюртук, рассыпаться в учтивостях, тогда как

мне покой был нужнее, чем тем, которые ехали в карете. Анисья Матвеевна подошла прямо к кровати; увидев меня, ахнула, перекрестилась с испугу, но, разглядев человеческий образ, начала употреблять воинские хитрости, чтобы выжить меня из позиции. Она говорила очень громко, кашляла, встряхивала перед моим носом свой салоп, так что брызги летели на меня, но ничто не помогало. Я лежал закрыв глаза. Я внутренно смеялся ее отчаянию.

Между тем другая дама вошла также в комнату и, увидя хлопоты своей спутницы, сказала ей потихоньку, что ей не для чего на полчаса беспокоить, вероятно усталого, проезжего и что ежели она хочет спать, то может лечь на софу.

Крикливая моя неприятельница удалилась к софе, бормоча, подложила себе разных свертков и узелков в голову, легла и, разговаривая и по временам повторяя: *я говорила, я говорю,* — заснула.

Пока она возилась, молодая приезжая дама стояла, оборотясь к ней и, наконец, когда та улеглась, взяла свечу и подошла к зеркалу, чтоб скинуть свою дорожную шляпу, чепец и поправить — я не знаю что: женщины находят и в дороге средство заниматься своим туалетом, — я увидел в зеркале — боже мой, что я увидел! Черты такие,

в какие всегда я облекал мою мечту, мой идеал красоты и прелести, который только что носился перед моими глазами! Когда она скинула чепец, густые кудри волос рассыпались по всему лицу, закрыли глаза и щеки; надобно было привести их в порядок: они уложены были за уши, и открытая физиономия показала мне лет двадцати двух женщину. Она была немного бледна — это могло быть с дороги, — впрочем, эта бледность была совершенно к лицу и задумчивому выражению глаз.

Локоны были убраны, свечка поставлена на стол, и молодая незнакомка начала ходить по комнате с сложенными руками и опущенною головою. Первый раз в моей жизни выражение женской физиономии сделало на меня такое впечатление. Со мною что-то сталось необыкновенное; я тысячу раз жалел, что не встал и не уступил места воркунье Анисье Матвеевне. Теперь, думал я, каким образом встать? как без замешательства явиться в полуодежде? как извиниться и к чему я теперь все это сделаю? Все это было очень неловко, и я продолжал лежать с полузакрытыми глазами, боясь проронить малейшее движение милой путешественницы.

Она была в черном платье. Почему, думал я, это

дорожное платье, но не вдова ли она? В эту самую минуту непослушные локоны рассыпались опять, и снова надобно было поправить их. Тут увидел я на левой ее руке одно только узенькое золотое кольцо — это верно вдова, сказал я сам себе.

На столе, куда она положила свою шляпу и чепец и теперь становила опять свечу, была открытая моя шкатулка; подле нее открытый Стерн, листок бумаги, исписанный и измаранный во всех направлениях, и, наконец, моя подорожная. Это обратило внимание незнакомки; она села — взглянула на книгу, на меня, потом взяла ее, посмотрела заглавие, бросила на меня любопытный взгляд, как бы желая узнать — что это за оригинал, читающий такую старину? Я не изменял своей роли — лицо мое было полузакрыто рукою, чтобы ловче было видеть, не давая подозрения, что гляжу обоими глазами. И так она, придвинув к себе свечу, начала читать Стерна.

Стало быть, она знает по-англински?

Стерн открыт был на том самом месте, где я оставил чтение, заметив карандашом на поле: «ужасно!» Незнакомка поднесла книгу ближе к свечке, чтоб рассмотреть это замечание, оборотила листок и начала с описания скворца, который

бился в клетке своей, повторяя слова: «не могу вырваться, я не могу вырваться», и, наконец, дошла до картины узника. Я видел только в зеркало ее лицо и замечал, как мало-помалу выражение его помрачалось, как останавливались глаза, трепетали ресницы и две крупные слезы блеснули, отражаясь свечою; обе эти капли упали на книгу. Я видел, как незнакомка испугалась, вытирала эти капли платком и сушила их своим дыханием. С тех пор я не расстаюсь со Стерном!

Мне пришла в голову странная мысль. Я глядел в зеркало, как девушка на Святках, гадающая о суженом, и видел там только лицо незнакомки. Что, если эта мечта, этот видимый образ есть ответ на мое гаданье, если… если это моя суженая?..

Незнакомка положила книгу, оперлась головою на руку и печально смотрела перед собою; по временам навертывались новые слезы. Измаранный лист лежал вместе с книгою, карандаш подле. Это, конечно, значило, что читавший марал его и делал заметки при чтении. Путешественница подвинула к себе в рассеянии листок, но, как бы опомнясь, поспешно положила опять на место. Не менее того, я заметил, что он обратил ее внимание. Я видел, как глаза ее перебегали

с фигуры на фигуру, со строчки на строчку; кажется, она хотела убедиться в незначительности бумаги. Наконец, она встала, взглянула на меня, прошлась по комнате и, сев снова, взяла листок. На самом верху у меня было написано: «Узник Стерна еще ужаснее для того, кто читает его здесь в Шлиссельбурге. Воображение этого писателя ничего не значит перед страшною истиною этих мрачных башен и подземельев!»

Кажется, эта простая фраза пробудила воспоминание, ибо дала понятие о том, что неясно представлялось воображению незнакомки. Она подняла голову, посмотрела рассеянно перед собою и потом как будто какая-нибудь идея подстрекнула ее любопытство; она быстро встала, подошла к окну, приложила обе руки к вискам, закрывая посторонний свет, и, как бы усиливаясь проникнуть мрак ночи, старалась разглядеть башни замка. Но там ветер и дождь увеличивали темноту осенней ночи; она отошла, сказав: «Боже мой, какая темнота!», опять села и потом, занятая своею мыслию, в рассеянии прибавила довольно громко: «да это я слыхала!»

Лицо незнакомки было печально, она сидела, задумавшись, напоследок взяла опять измаранный лист, поворачивала его во все стороны,

смотря по тому, как карикатуры, головки, цепи, набросанное изображение узника Стернова были нарисованы, и потом глаза ее остановились на следующем: «Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил с твердостию — но чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною что хотят, пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места, где бы не было Бога, где бы можно было отнять мою совесть, — я буду спокоен сам за себя. Если же за мной останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием — горесть его ляжет на мою душу, на совесть, и потому, нося в груди тайну, готовясь с разгадкой ее к новым несчастиям, я не могу — я не должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастия!..»

Незнакомка опустила лист, облокотилась и, казалось, размышляла о написанном.

Меня очень занимала эта немая сцена; при сцеплении обстоятельств самых обыкновенных она сделалась для меня совершенно романическою. Буря бушевала, дождь стучал в деревян-

ную крышу, в которой некоторые доски, давно оторванные ветром, хлопали наперерыв со ставнями, ветер завывал в щелях, так что пламя свечи колебалось на все стороны, и между тем как хозяин и хозяйка в другой комнате спали крепким сном, прихрапывая под завыванье бури, мы с незнакомкой бодрствовали; любопытство в сердцах обоих было возбуждено.

Развернутая подорожная была брошена прямо перед незнакомкою. Она обратила на нее взоры, — слабый свет не позволял ей читать в таком отдалении. Любопытство и нерешимость боролись в ее прекрасных чертах. — «Возьми, милая незнакомка, — думал я, — здесь твое сомнение не может тебя беспокоить: это официальная печатная бумага, которую читает каждый смотритель; почему же тебе не узнать моего имени?..» Она, конечно, думала то же, взяла подорожную, прочла мое имя и вдруг обернулась ко мне с видом какой-то неожиданности, как будто желая удостовериться в моем тождестве с написанным именем.

Рука моя была отнята от лица. Путешественница взяла свечу, начала осматривать картинки по стенам и всякий раз, когда полагала, что свеча выгодно освещает меня, поворачивала ко мне

свое прекрасное личико; но неверный свет и отдаление мало ей помогали. Она желала увериться, сплю ли я, и потому, поставив свечу на стул так, чтоб лицо мое было освещено, начала ходить взад и вперед, шевеля стульями, ступая на те половицы, которые более скрипели, — я не просыпался. Казалось, она убедилась в моей летаргии — взяла опять свечу, подошла к картинке, висевшей у самой кровати, потом оборотилась ко мне и неожиданно встретила мой взор — я глядел на нее во все глаза.

Медузина голова, я думаю, не произвела бы подобного действия, незнакомка оцепенела: как рука ее вытянулась со свечою, как она начала поворот, как ротик ее открылся в изумлении, как она закрыла рукою свои глаза — все это так и осталось! Я не мог удержать усмешки, встал, взял из рук свечу и подвел незнакомку к оставленному стулу. Она села в совершенном замешательстве, с лицом, закрытым рукою. Я накинул сюртук и сел напротив. Восемь лет тому назад я еще не испытал тех несчастий, которые провели по лицу моему глубокие борозды, потушили огонь глаз, изредили волосы, усыпав остальные сединою, и сделали стариком сорокалетнего человека, — и потому не думал, что испугалась

моего безобразия. Я видел, что ей совестно своего любопытства.

— Какая ужасная погода, сударыня, — сказал я, сам не зная, чем прервать это неприятное для нас положение.

— Извините, что я так неучтиво разбудила вас, — сказала незнакомка, не подымая на меня глаз.

— Но я совсем не спал, сударыня! — Я хотел этим ответом уменьшить вину, в которой она сознавалась, но увеличил ее замешательство: она покраснела, скоро поправилась и отвечала улыбаясь: «Так это значит, что вы подсматривали за беспечною женщиной, которая думала быть одна, или, что все равно, со спящим человеком».

— Я имел на то полное право; я боялся за свою собственность. — Я сказал это, указывая на карикатуры, намаранные по всему листу.

Незнакомка улыбнулась, подняла на меня свои большие глаза и сказала:

— Это правда, тут видно и ваше душевное богатство, и то, что вы не любите ни с кем делиться им.

Она провела пальцем под строками последнего замечания на листе, где говорилось, что я не хочу делить ни с кем своих несчастий.

Я смешался в свою очередь, однако кое-как отвечал:

— Не верьте людям, сударыня: часто их богатство состоит только в пышных фразах. Я собственным опытом убежден, что часто человек, выдававший за час неизменным правилом свои слова, не в состоянии отвечать за себя, может ли повторить их теперь с тою же уверенностью.

Мы замолчали оба. В эту минуту вошел слуга путешественницы и сказал, что он только сейчас нашел кузнеца, который, осмотрев карету, обещался исправить ее через час.

— Я думала, ты пришел мне сказать, что карета уже готова?

— Если бы не эта погода, сударыня, конечно мы бы уехали ранее; но ни один из этих мошенников ни за какие деньги не хочет разводить огня в кузнице. Этого одного только застал я за работой у горна.

— Хорошо, друг мой, постарайся же кончить скорее.

Слуга поклонился и ушел.

Это явление подало мне повод спросить у незнакомки, откуда она едет, — и мало-помалу мы узнали друг о друге достаточно, чтобы разговаривать о Петербурге, дороге, погоде и тому

подобном, перемешивая это, время от времени, новыми вопросами; наконец, через четверть часа я узнал, что прекрасная путешественница недавно овдовела, была замужем только два года, спешит из Ярославля в Петербург к своей матери и что говорливая спутница взята ею для компании в дороге. Доверенность некоторого рода установилась между нами. Незнакомка хотела всячески оправдать свое любопытство. Она рассказала мне, что знакома с моим другом В., который много говаривал обо мне, что она посещала некоторые дома, куда я также вхож, и что, наконец, мои литературные произведения были ей известны из альманахов и журналов.

— Я была убеждена, — продолжала она, — прочитав ваше имя в подорожной, что вы тот самый, который написал *об удовольствиях на море*.

Нельзя было не согласиться с убеждениями прекрасной женщины, что мои добродетели, о которых ей говорили, и даже литературная известность, возбудили ее любопытство. Не менее того, я благодарил ее, что она читала эти мелочи и помнила их. Это была большая редкость для женщин в том и в другом случае.

Между тем ветер ревел сильнее и пронзительнее, окна дрожали, в комнате было очень

холодно, незнакомка куталась в свою шаль, но это не помогало; я, несмотря на то, что мало думал о тепле или холоде, начал вздрагивать; мне пришло в голову развести огонь на очаге, который выступал в нашу комнату; я сообщил свое намерение путешественнице, и она охотно согласилась со мною, что огонь в эту пору и в такую погоду очень кстати. Я вышел в комнату хозяйки, разбудил ее, объявил свое желание и после некоторых противоречий, что там никогда не разводят огня и проч., я велел мальчику, там спавшему, положить дров, открыть трубу и затопить. Все это было устроено, и в пять минут мы сидели с незнакомкой у небольшого огонька.

Здесь рассказал я в свою очередь, почему ночую на станции: описывал бурю, дождь, холод, выгоды теплой комнаты и, очень естественно, кончил советом не ехать в такую дурную погоду.

— Я думаю, — продолжал я, — что Анисья Матвеевна *говорила* правду, советуя вам оставаться здесь ночевать.

— Она очень убедительно *говорит,* но я этого не могу сделать. По последнему письму, полученному от матушки, и по почерку руки я заключила, что она нездорова, и потому дорожу каждою минутой.

— В таком случае отдаю полную справедливость вашему желанию и отступаю от совета; но не менее того, кажется, я говорю справедливо: что плохой огонь в камине приятнее хорошего дождя в дороге.

— Не совсем, особенно при обстоятельствах, сопровождающих мою остановку. Это завывание ветра неприятно в самом деле: послушайте, как страшно гудит в этой трубе; в дороге слышишь только крапанье дождя в крышу кареты. Притом же близость этих башен пробуждает какую-то тоску; я проезжала несколько раз Шлиссельбург, и никогда мне не приходило в голову слышанное прежде, что в этом замке есть много несчастных, томящихся в заключении, но теперь… — Она оглянулась на окно и, как будто боясь, чтобы ее кто-нибудь не подслушал, отодвинула стул свой. Это движение, удалив ее от окна, приблизило ко мне; она продолжала вполголоса: — Теперь я чувствую это соседство. Ваш листок, ваш Стерн вдруг развернули во мне воспоминание. Мне стало грустно, мне стало страшно! Здесь все располагает к каким-то грустным впечатлениям!.. Вы ничего не слыхали? — вдруг спросила меня, оторопев, незнакомка.

Мне показалось самому, что посреди рева

стихий какой-то пискливый, жалобный голос простонал вблизи нас. Я прислушивался, но не слышал более ничего, кроме монотонного храпенья хозяев, заглушаемого стуком кровли и барабанным боем дождя в окошки.

— Это ветер, — сказал я, — переменяет свои аккорды в трубе и щелях!

— Станется, а может быть, это дух какого-нибудь страдальца, — сказала шутливо незнакомка, стараясь ободриться от своего страха, — здешние ужасы действительнее радклифовских[18].

— Вы, конечно, боитесь духов и привидений? — спросил я в том же тоне.

— Не умею вам отвечать на это; мне никогда не случалось испытать своей отважности, но я чрезвычайно люблю страшные повести, рассказы, даже сказки о домовых, и в это время чувствую какой-то страх, который не менее того мне приятен. Я не верю этим вещам по рассудку, но, получив с детских лет наклонность к чудесному от моих тетушек и нянюшек, неохотно расстаюсь с верою моего воображения, которое часто заставляет забывать невозможность призраков и тому подобного. Вы, господа мужчины, по боль-

[18] Notes: 18

Анна *Радклиф* (1764–1823) — английская писательница, стоявшая у истоков готического романа.

шей части не имеете предрассудков и не верите привидениям: но зато вы лишаете себя большого наслаждения при рассказах, которые иногда так приятно волнуют нашу душу!

— Мужчины гораздо больше имеют способов и случаев поверять свои впечатления и чувствования. Особенно военная служба приучает нас ко всем действительным и воображаемым ужасам. Со всем тем, я знавал людей, достойных уважения по уму, храбрости и благоразумию, которые втайне жертвовали многим предрассудкам и вере в чудесное. Что касается собственно до меня, отец мой в малолетстве приучал меня ничего не бояться; сверх того, я тринадцати лет пошел в море и, следственно, должен был бросить все страхи, которые могли оставаться от детского возраста. В зрелых годах я имел случаи испытать, как неосновательны бывали слухи о чудесном, как они растут, переходя из рук в руки, и даже недавно обязанность по службе заставила меня выгонять домового из одного дома в том городе, где я жил.

— Выгонять домового по службе? — это очень странно, это очень любопытно. Если б я не боялась быть нескромною — впрочем, первый шаг к этому сделан, чтобы вы считали меня такою, —

сказала она, краснея и улыбаясь, — я бы просила вас рассказать, как это случилось?

— Точно по службе, сударыня, и я охотно расскажу вам это, но только думаю, что рассказ человека, который сам не верит домовым, не доставит вам удовольствия. Вы любите впечатления чудесного: это впечатление может быть передано только тем, кто сам их ощущает. Мой рассказ будет прост.

— Нужды нет, лишь бы в происшествии было б что-нибудь неспроста.

Я положил в огонь дров, снял со свечи и шутя заметил незнакомке, что в самом деле наше положение, час ночи и все окружающие обстоятельства очень благоприятствовали страшным рассказам. Время от времени весь дом будто тряся от порывов ветра, иногда, напротив, несколько секунд слышны были даже удары маятника в деревянных часах, висевших на стене; потом буря ревела вновь и снова раздавался храп пьяного смотрителя и тучной его половины. Затем я начал:

«В 1819 году, в Кронштадте, где я служил, разнеслись слухи, будто в квартире одного купца домовой начал беспокоить постояльцев. Сперва узнали об этом соседи, потом начали многие тол-

ковать о проказах домового; наконец, весь город был на ногах, и квартира купца оказалась сборным местом любопытного и праздного народа, который божился, что видел — то, слышал — другое и что домовой действительно завладел жилищем бедного купца. Всего страннее было, что этот домовой не походил на других: он делал все каверзы днем и показывал свои фокусы пред всею публикою, которая сбегалась с любопытством и разбегалась с ужасом и рассказами во все концы города о страшном духе и его шалостях. Квартира эта была в доме народного училища, где верхний этаж был занят школою; а внизу в одной половине жил учитель, другую занимал несчастный купец с своим семейством. Учитель, как ближайший сосед и как человек просвещенный, всех скорее и всех вернее мог исследовать причину несчастия купеческой квартиры и, вследствие собственного очевидного удостоверения, отрапортовал в Петербург в Департамент народного просвещения, что на сих днях во вверенном ему доме училища завелся домовой, которого хотя он лично не видал, но шалости его так явны и беспокойны, что он решился, из опасения последствий, довести это до сведения высшего начальства и просить о помощи и покровительстве.

Пока рапорт ходил в Петербург, суматоха в доме увеличивалась. Сперва этот домовой, как и всякий другой из его собратий, довольствовался тем, что ночью сдергивал со всех одеяла или прятал платье хозяйки, щипал за нос и за бороду хозяина, сек розгами сына — лет одиннадцати мальчика, и щекотал служанку — лет четырнадцати девочку, заставляя ее хохотать благим матом, и после пропадал с петухами; но это было вначале; потом ночь за ночью проказы его увеличивались, наконец, самый дневной свет и все петухи, которых у купчика было до десятка, не могли прогнать его. Он кидал из-за темной перегородки поленьями, стучал в окошки, прижимал в дверях любопытных посетителей; сбивал с них шапки, насыпал песку в рукавицы. Иногда взорам изумленных прохожих представлялись чудесные явления: вдруг квашня, стоявшая на прилавке, начинала прыгать, качаться и со стуком падала на пол, и когда пугливые зрители отскакивали прочь от расплывшегося теста, у одного кафтан был прибит гвоздем к двери, у другого носовой платок, выскочив из кармана, вздирался по стене до потолка, будто живой. В другое время заслонка в русской печи дрожала, как в лихорадке, и под музыку ее дрожанья горшок с кашею сам выдви-

гался из печи, каша высовывалась из горшка, а за нею вываливалось множество ложек. Такое страшное зрелище поражало ужасом всех присутствующих; все бросались вон, а домовой, как сказывали они после, провожал их камнями, песком, а что всего хуже: обморачивал так, что они никогда не могли попасть в настоящую дверь с первого раза, а если и попадали, то она захлопывалась сама собою и непременно придавливала беглеца.

Такие происшествия и толки народа дошли до полиции. Пристав той части отправился сам свидетельствовать с своею командою навожденный дом. Несколько человек смелых посетителей, которых не мог еще выгнать домовой и которые при всем страхе дожидались каких-нибудь новых ужасов, испугались полиции более, нежели духа, и убежали. Двери заперли, поставили часовых; в доме осталась одна хозяйка с семейством и частный с городским унтер-офицером. Частный важно сел в кресло и начал расспрашивать хозяйку.

— Расскажи мне, любезная, — сказал он суровым голосом, — что за проказы делаются у тебя в доме?

Хозяйка стояла перед ним, утирая передником

заплаканные глаза:

— Не знаю, батюшка, за что Бог послал такое наказание нашему дому. Вот уже третьи сутки и днем не стало нам покоя: с утра до вечера плачу и не знаю, как пособить горю. Муж стал со страху пить пуще прежнего, ребятишки голодны от того, что с этим навождением — буди с нами крестная сила! — нельзя ни спечь, ни сварить. Ты прибираешь *здесь,* а нечистый — господи прости мое согрешение — работает по-своему *там*; — ты пойдешь *туда,* а он очутится *здесь*. Видимо делает, а видом — не видать; ужас берет до чего-нибудь дотронуться: во всем его проклятая сила… Мати божия!..

Хозяйка остановилась и закрыла глаза передником, дрожа от страха, потому что в эту минуту, под самым потолком, над головою частного, послышалось шорканье кофейной мельницы. Пристав взглянул наверх и в ту же минуту закрыл также глаза: оттуда сыпался молотый кофе; шорканье перестало.

Хозяйка выглядывала из-за передника, городовой неподвижно стоял у дверей, частный, побледнев, верно с досады, бросился на другой стул.

— Где же у тебя более всего беспокойно? — спро-

сил он с приметным движением.

— Сказать не могу, батюшка; из всего дома гонит, но больше в двух комнатах: вот за этой перегородкой и там, в темной кухне.

— Надобно осмотреть это, Лоботрясов, — сказал частный городовому.

— Во власти вашей, — отвечал тот, — извольте осматривать.

Пристав хотел подняться со стула; хозяйка начала рассказывать разные подробности о проказах домового. Надобно было выслушать все обстоятельно, и всякий раз, когда частный пристав хотел вставать, являлись новые случаи страшнее первых, и частный опять садился. Видно было, что желание исправности в исполнении долга боролось с желанием узнать все подробности дела. Хозяйка старалась всячески удовлетворить последнему и рассказывала истории одна другой ужаснее; время проходило, частный уже потерял охоту вставать; наконец, городовой раскрыл свой безмолвный рот.

— Надобно осмотреть, ваше благородие, — сказал он.

— Осмотри, Лоботрясов.

— Да что же я без вашего благородия сделаю? пожалуйте и вы; ваше дело подвластное, мы не

можем без командира.

— Да я должен выслушать от хозяйки еще кое-что, ведь это все к делу.

— Пора с рапортом, ваше благородие.

Частный встал нерешительно, велел Лоботрясову идти вперед; правая его рука что-то шевелилась за пазухою под мундиром; хозяйка сзади крестилась.

Дверь в роковую кухню была отворена, городовой вошел довольно смело, обернулся на все стороны.

— Ничего нет, ваше благородие, — сказал он, выходя проворно из другой двери; частный вошел — и вдруг двери за ним запахнулись, слышно было, как он пыхтел, и чрез несколько секунд он выскочил из противоположных дверей, весь обсыпанный мукою; маленький рогожный кулек висел у него сзади на пуговке, как ключ у камергера.

— Пойдем с рапортом, Лоботрясов, — вскрикнул частный и выбежал на улицу, но он неверно рассчитывал на свои силы: дошедши до дому, он сделался очень болен и должен был послать письменный рапорт к полицеймейстеру с городовым.

Итак, домовой продолжал свои шутки, слухи о том дошли до высших сословий общества; много

порядочных людей шли осматривать навожденный дом. Инженерный полковник был из числа любопытных; с ним случилось едва ли не хуже, чем с приставом: домовой загонял его в темной кухне, и когда на жалобные стоны некоторые решительные люди осмелились посмотреть, что с ним сделалось, то увидели его на столе в углу: он держался или, лучше сказать, повис рукою на гвозде, вбитом в стену для маленького медного образа; одна нога была поднята, с другой стащена ботфорта до половины, обе шпоры были потеряны. Его насилу могли отцепить — так замерла рука, — и это был новый, обращенный в бесовскую веру».

В эту минуту раздался громкий звук в другой комнате; незнакомка, слушавшая меня со вниманием, вздрогнула.

— Что это? — спросила она с беспокойством.

Я встал, заглянул в двери и отвечал:

— Это хозяйка уронила с ноги туфель, сколько я могу рассмотреть при нагоревшей свече. Она спит, нераздетая, на своей кровати.

За этими словами последовал такой сильный порыв ветра, что весь дом затрясся; в то же время послышался опять глухой, жалобный и тонкий голос.

Незнакомка побледнела — глаза ее безмолвно спрашивали меня.

— Это ветер, это дух бури воет в трубе, — сказал я, смеючись, и сел, поправляя огонь.

— Мы часто в море, — продолжал я, — слышим музыку страшнее этой; снасти мачт в бурю представляют настоящую эолову арфу, рев ветра в толстые канаты и свист его в тонкие веревочки составляют совершенную гармонию со скрипом корабля и шумом волн.

— В самом деле, я думаю, что это ветер, — отвечала она, оправляясь, — прошу вас — продолжайте вашу историю.

«Итак, домовой занимал весь город; одни рассказывали его чудеса, другие этому смеялись. В это время военный губернатор, вследствие учительского рапорта, о котором у нас никто и не знал, вдруг получил из Петербурга отношение, где спрашивалось — что такое сделалось с домом и какой домовой овладел им? Полицеймейстер был болен, один частный захворал, как я уже сказал, другой был в отлучке, а низшие чиновники решительно объявили, что они скорее оставят службу, чем будут принимать какие-нибудь меры против домового.

Губернатор прежде смеялся этой истории, но,

когда получил отношение, надобно было узнать обо всем подробнее. Мне случилось в то время быть при нем. Он позвал меня. Инженерный полковник и несколько полицейских офицеров были у него и с клятвою уверяли о достоверности случая; полковник рассказывал про свое несчастие.

Губернатор спросил меня, смеючись, не боюсь ли я чертей, и на мое отрицание велел мне выгнать из дому домового.

Я отправился осмотреть хорошенько дом и, когда пришел в купеческую квартиру, нашел там несколько посторонних и священника с причетом, которого хозяин решился позвать как последнее средство для изгнания нечистой силы.

Священник сидел, разговаривая о том; хозяйка перечисляла ему все обстоятельства, все случаи, прихожие подтверждали собственным свидетельством; дьячок зажег лампаду перед образом, налил воды в тарелку для окропления, поставил свечи; наложили углей в кадило, повешенное на гвозде подле стола, — я замечал кругом.

Наконец священник приступил к служению молебна и начал словами: „Благослови, Боже, нас всегда ныне и присно и во веки веков“, но только он это выговорил, пламя в лампаде высоко поднялось и угасло с треском; священник остановился,

приметно смешался, но велел зажечь ее снова и продолжал службу. Когда же между пения он произнес окончание молитвы „превеликое имя Твое, Спасе, на Небеси одесную Отца седящу Ти почитается, на земле же неизреченное Твое воплощение ставится; во аде же сошествие бесы устрашает; от них же и нас избави Христе Боже и спаси нас“, дьячок в эту минуту, раздув угли, подал ему кадило, и только священник взял его в руки — вдруг оно вспыхнуло, будто порох, угли выбросило вон; на тарелку с водою посыпался песок, несколько поленьев полетело из-за перегородки в предстоящих — священник отскочил от ужаса…»

Вдруг из трубы нашего очага посыпался на огонь также песок; мы встали — я смотрел вверх… пронзительный визг раздался — и вдруг с шорохом и шумом что-то покатилось по трубе, упало на огонь и засыпало его; облако пыли и золы покрыло нас, угли разлетелись по комнате… незнакомка вскрикнула и упала без чувств мне на грудь…

В первую минуту я не знал, что думать о случившемся, но через несколько мгновений увидел посреди кирпичей и соломы, в дыме курящихся головешек, стоящего аиста, чье гнездо я видел на

трубе при въезде в Шлиссельбург. Анисья Матвеевна спросонья крестилась обеими руками, сидя в страхе на софе. Хозяйка прибежала, остановилась в дверях, раскрыв рот и размахнувши руками от удивления и ужаса. Я держал бесчувственную незнакомку в руках.

Сердце мое билось, сильно билось! Я потерялся совершенно; вместо того чтобы отнести незнакомку на кровать, сам не знаю, каким образом сел на стул и легонько опустил ее на колени. Голова ее лежала на моей груди, в которую какой-то электрический ток лился жгучими струями; я вдыхал в себя благовоние ее волос; чувства мои разделялись между состраданием и удовольствием… О, как милы трусливые женщины!

Я тер виски, легонько колотил по ладоням незнакомки, и прежде нежели хозяйка и Анисья Матвеевна опомнились — она пришла в себя.

Бледность обморока уступила место живой краске, когда она увидела свое положение и стоящих около нее женщин; я помог ей, когда она сделала движение встать; но в ту же минуту должен был посадить снова на стул. Глаза ее обратились на причину испуга, и она со страхом увидела огромную птицу, которая величественно посреди очага глядела с изумлением на около

стоящих. Я объяснил ей, что гнездо, свитое над трубою, не могло выдержать силы ветра и дождя и что бедная птица, обеспокоенная сверху бурею, снизу жаром и дымом, провалилась к нам сквозь широкую трубу.

Анисья Матвеевна начала ахать и рассказывать, что *она говорила*; хозяйка, ворча, хотела взять несчастного аиста и выбросить на улицу — но незнакомка заступилась. «Пусть он останется с нами, — сказала она, — если несчастье заставило его искать нашего покровительства».

Мало-помалу все пришло в старый порядок; Анисья Матвеевна дремала и бормотала, хозяйка ушла. Аист улегся на развалинах своего гнезда, мы с незнакомкою сидели подле стола молча; она не могла собрать рассеянных своих сил, я не хотел расстаться с приятным впечатлением.

— Ваш рассказ расположил меня к этому испугу, — сказала незнакомка нетвердым голосом, но стараясь победить свое замешательство.

— Я вполне виноват, сударыня, хотя, впрочем, нарочно так рассказывал, чтобы вы видели более смешную, нежели страшную сторону происшествия.

— Мое воображение забегает вперед вашего описания и видит только одни страхи. Но про-

стите моему любопытству: чем же кончилось это происшествие?

Видно было, что незнакомка желала этого только для того, чтобы скрыть свое смущение, я, с своей стороны, потрясенный во всем составе, не в состоянии был рассказывать сколько-нибудь занимательно. Если незнакомка сделала на меня приятное впечатление до испуга, то этот аист расстроил меня совершенно. Даже и теперь я не могу думать об этом без душевного волнения. Я всегда был неловок с женщинами, а в то время все мои покушения поправиться оставались бесполезными. Я продолжал рассказ, сбивался и в коротких словах передал конец истории почти так:

«Священник не мог дослужить молебна и ушел в замешательстве. Я замечал все явления и ежели не совсем, то отчасти догадался о причине. Мне казалось, домовой — сама хозяйка, но как она отвечала только слезами на мои вопросы, то я захотел употребить к тому некоторое принуждение, я объявил хозяевам о приказании, мне данном, и вследствие того расположился у них в тесной квартире с десятью человеками матросов, будто бы для наблюдения за проказами нечистого. Между тем запретил людям своим всякую обиду хозяевам; я велел им курить как можно

более табаку, петь песни, пить вино и делать как можно более шуму. Завладев таким образом квартирою, я объявил хозяйке, что не выйду из дома до тех пор, пока не выживу домового. Военный народ, особенно если дашь ему свободу, едва ли не беспокойнее всякого демона, а потому через ночь, проведенную нами в мире и тишине с домовым, в тесноте, шуме и песнях с домашними, хозяйка пришла просить меня, чтоб я оставил ее в покое, и что, как ей кажется, шутки домового прекращаются. Я повторил приказание, данное мне начальством, — не оставлять до тех пор ее квартиры, пока не узнаю лично домового, и потому хозяйке оставался выбор или терпеть шум и толкотню от матросов, или признаться в своей комедии, и потому она, при помощи нескольких вопросов и убеждений с моей стороны, решилась на последнее и рассказала мне вот что:

Муж ее довольно достаточный купец, выстроил себе новый дом, но по скупости, вместо того чтобы спокойно жить в нем, оставался в тесной и сырой наемной квартире; сверх того, в нем увеличивалась охота к пьянству и бражничанью с подобными ему гуляками. Сколько хозяйка ни убеждала его перейти в новый дом и перестать пьянствовать, он не слушался и не унимался;

тогда пришла ей мысль выжить его из квартиры и попугать выдумкою домового. Несколько опытов было сделано: суеверный и напуганный купец объявил об этом всему гостиному двору, повторение жалоб его привело любопытных, и наконец хозяйке уже надобно было разыгрывать публично комедию, сочиненную для домашнего представления. Она показала мне все приборы, ею придуманные: они состояли в веревочках с крючками, продетых неприметно в разных местах двух темных комнат: кухни и отделения за перегородкою, откуда с высокого шкафа, промежду резных фигур переборки, помощники ее, сын и девочка служанка, сыпали кофе, порох, песок, бросали поленья и прочее. Все это было очень незамысловато; всего мудренее для меня казалось искусство, с каким двое детей помогали хитрой женщине, с каким притворством играли они роли свои, и, наконец, легковерие людей, позволявших себя обманывать грубыми и простыми средствами, которые приметны были при малейшем внимании.

Казалось в этом случае, что люди, приготовленные верою к чудесному, не хотели нарочно примечать обмана и желали видеть только то, что им нравилось. Даже когда я рассказывал

полковнику и частному приставу, каким образом их легковерие было обмануто, — они качали головою и, не могши спорить против очевидности, но все еще не расставались со своим убеждением и поговаривали после между собою, что я или хвастал, или сделал это неспроста».

Я рассказывал это очень неловко: повторял, забывал, в голове у меня вертелось совсем другое: мне все казалось, что душистые локоны незнакомки касаются моих губ, — и слова замирали на губах; что голова ее лежит на моей груди, — и дух у меня занимался; когда же она устремляла на меня из-под длинных ресниц свой задумчивый взор — я совсем терялся…

Мне казалось, что незнакомке было неловче моего, может быть, от той же причины, но что приносило удовольствие мне, то могло напомнить ей неприятное положение. Наш разговор был перерывчив и несвязен, учтивость с обеих сторон удвоилась, но не менее того я чувствовал, что эта учтивость не отзывалась холодностью и напротив имела с ее стороны что-то обязательное.

Таким образом прошло около получаса; мы мало-помалу начали было нападать на прежнюю дорогу, вдруг старый слуга незнакомки явился в

дверях с докладом, что карета готова.

— Боже мой! — вскрикнул я с невольною живостью. Незнакомка покраснела, потупила глаза, взяла свою шляпу, медленно надела перчатки и пошла будить спящую компаньонку. Я хотел говорить, вертел несколько фраз о том, с каким удовольствием провел это время, как оно пролетело и проч., и ничего не мог выговорить, одним словом, сцена происходила молча, я велел смотрителю запрягать моих лошадей.

Наконец все было готово. Незнакомка видела мое замешательство и сказала мне тихим голосом:

— Благодарю вас за приятно проведенное время, за ваш рассказ. Извините, что я два раза потревожила вас и моим любопытством и моим глупым страхом.

Я комкал свою фуражку, не знал, что говорить, но помнится, будто с жаром сказал, что охотно отдал бы жизнь за эти беспокойства. Бывают со всяким человеком глупые минуты, но не думаю, чтобы кто-нибудь в эти минуты мог быть столько глуп и неловок, как я! Я не подал ни салопа незнакомке, ни отстранился от Анисьи Матвеевны, которая, по своему обычаю, *говорила* и суетилась; я стоял как вкопанный и потом, вспомнив, что

учтивость требует проводить незнакомку до кареты, бросился как безумный, толкнул снова компаньонку и очутился опять пред незнакомкою, которая, дошед до порога, остановилась как бы в нерешимости, потом оборотилась ко мне и сказала:

— Когда возвратитесь в Петербург, мне приятно будет увидеть вас у себя, в дороге знакомство скоро делается, не правда ли, что мы уже знакомы? — продолжала она, сняв перчатку и подавая мне руку с улыбкой.

— Мне недоставало только видеть вас, чтобы познакомиться, — отвечал я, — есть люди, которых образ давно знаком нашей душе и воображению. — Я не смел сказать — сердцу, хотя бы сказал справедливее.

— Итак, вот мое имя, — сказала она, вынимая из редикуля письмо, с которого, сняв обертку, подала мне.

Сказав это, она спорхнула, как птичка, с крыльца и влетела в карету; ее рука едва касалась моей, когда я помогал ей садиться; я подсадил также увесистую Анисью Матвеевну, которая бухнула подле нее, крестясь и проклиная дорогу, — и карета покатилась.

Ветер продувал, дождь лился на меня рукой, я

стоял на крыльце, как будто мое тело потеряло способность двигаться без души, полетевшей за каретою.

Через четверть часа уехал и я.

В этот раз ни буря, ни дорога, ни толчки не могли остановить моего воображения.

Итак, вот женщина, которая впервые сделала на тебя такое впечатление! Вот осуществление идеала, созданного твоим воображением; того ли ты хотел? Да.

Итак, я поеду к ней — буду стараться заслужить взаимность, любовь, и если она даст мне руку, какое счастье! — как я обрадую матушку!

Так мечтал я, забывая все на свете, — и действительно, я заранее был счастлив. Но вдруг мысль о превратностях судьбы, ожидающих меня в будущем, опрокинула все мои воздушные замки.

Рассудок говорил против, — вероломное сердце твердило за себя. Наконец рассудок восторжествовал: «Я не поеду к ней — я не хочу ее сделать несчастною». Это было последнее мое решение — и я сдержал его!..

По возвращении в Петербург борьба с самим собою мне становилась тяжéле и тяжéле. Мать моя не переставала убеждать меня. Случай привел меня часто встречаться с милою путешествен-

ницею; в первый раз она сделала мне выговор, в последующие ни о чем более не упоминалось; но иногда я подстерегал какое-то вопросительное выражение ее глаз; это меня мучило — я любил ее, — что она должна была обо мне думать? Кто мог ей объяснить загадку моего поведения?..

Матушка моя осталась при своем желании, а я остался одиноким в этом мире!

Ф. М. Достоевский. Бобок. Из «Дневника писателя» за 1873 год



На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

Записки одного лица

Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:

— Да будешь ли ты, Иван Иваныч, когда-нибудь трезв, скажи на милость?

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Все-таки ты, говорит, литератор». Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо».

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное; идеалов надо, а тут…

Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть — не напечатали. Написал фельетон — отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у вас нет».

— Какой же тебе соли, — спрашиваю с насмешкою, — аттической[19]?

Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: «Редкость! Красненький, дескать, чай, с собственных плантаций…» За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо[20] хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и

---

[19] Notes: 19

Аттическая соль — насмешка, тонкое остроумие.

[20] Notes: 20

Бонмо — острота, шутка.

вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Всё увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки — живые! Это они реализмом зовут.

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте… и вот что под самый конец оказалось… впрочем, давно уже надо было предвидеть…» Это еще довольно хитро; так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то, свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет, — способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь

ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: «Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные». Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошел, значит, теперь мы умные». Нет, еще не значит.

Впрочем, черт... и что я с своим умом развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель: «У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь — и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь...»

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!»

Какой такой бобок? Надо развлечься.

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется! Покойник добывал, ну а теперь — пенсионишка. Подожмут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки нехороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично, и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и… ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить, и всё. Набилось много и на провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим… или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о

предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал. Я горд, и если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки, а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об «удивлении» я вот что вывел:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать».

— Да я прежде всего желаю уважать. Я *жажду* уважать, — сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И боже, подумал я, что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгроб-

ных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина[21].

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу — звуки глухие, как будто рты закрыты подушками, и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

— Ваше превосходительство, это просто никак не возможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.

— Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

— Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.

---

[21] Notes: 21

Речь идет о «Русском календаре», издаваемом А. С. Сувориным, где среди прочего можно было найти народные приметы и поверья.

— Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно, и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике:

«Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова… таких-то и таких орденов кавалера». Гм. «Скончался в августе сего года… пятидесяти семи… Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник.

— Ох-хо-хо-хо! — послышался совсем уже новый голос, саженях в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки, — голос мужской и простонародный, но расслабленный на благоговейно-умиленный манер.

— Ох-хо-хо-хо!

— Ах, опять он икает! — раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света. — Наказание мне подле

этого лавочника!

— Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это мое естество. И все-то вы, барыня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.

— Так зачем вы сюда легли?

— Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

— Накопил; людей обсчитывал?

— Чем вас обсчитаешь-то, коли с января, почитай, никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется.

— Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.

— Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь? Оба достигли предела и пред судом Божиим во гресех равны.

— Во гресех! — презрительно передразнила покойница. — И не смейте совсем со мной говорить!

— Ох-хо-хо-хо!

— Однако лавочник-то барыни слушается, ваше превосходительство.

— Почему же бы ему не слушаться?

— Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.

— Какой же это новый порядок?

— Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство.

— Ах да! Ну все же порядок…

Ну одолжили; нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.

— Нет, я бы пожил! Нет… я, знаете… я бы пожил! — раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

— Слышите, ваше превосходительство, наш опять за то же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

— И с легкомыслием.

— Пронимает его, ваше превосходительство, и,

знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг: «Я бы пожил!»

— Скучновато, однако, — заметил его превосходительство.

— Скучновато, ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

— Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы[22].

— А я, напротив, вас обоих терпеть не могу, — брезгливо откликнулась крикса. — Оба вы самые прескучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про вас, ваше превосходительство — не чваньтесь, пожалуйста, — одну историйку знаю: как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.

— Скверная женщина! — сквозь зубы проворчал генерал.

— Матушка, Авдотья Игнатьевна, — возопил вдруг опять лавочник, — барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..

— Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он

---

[22] Notes: 22
Крикса — плакса.

ворочается!

— Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись — потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу.

— Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.

— Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки[23] наши скорее пристигли: слезные гласы их над собою услышу, супруги вопль и детей тихий плач!..

— Ну, вот об чем плачет: нажрутся кутьи и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!

— Авдотья Игнатьевна, — заговорил льстивый чиновник. — Подождите капельку, новенькие заговорят.

— А молодые люди есть между ними?

— И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.

— Ах, как бы кстати!

— А что, не начинали еще? — осведомился его превосходительство.

— Даже и третьёводнишние еще не очнулись,

---

[23] Notes: 23
Поминки на 40-й день после кончины.

ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажен на десять почти все у нас прошлогодние.

— Да, интересно.

— Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.

— Гм, где же он тут?

— Да шагах в пяти от вас, ваше превосходительство, влево. Почти в самых ваших ногах-с… Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться.

— Гм, нет уж… мне что же первому?

— Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен, поручите мне, ваше превосходительство, и я…

— Ах, ах… ах, что же это со мной? — закряхтел вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

— Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

— Ах, кажется, молодой человек! — взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

— Я… я… я от осложнения, и так внезапно! —

залепетал опять юноша. — Мне Шульц еще накануне: «У вас, говорит, осложнение», а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

— Ну, нечего делать, молодой человек, — милостиво и очевидно радуясь новичку, заметил генерал, — надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову[24]. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к вашим услугам.

— Ах нет! нет, нет, это я никак! Я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп… и вот вдруг совсем неожиданно… главное, совсем неожиданно.

— Вы говорите, сначала грудь, — мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.

— Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу… и знаете…

— Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.

— А я, знаете, все собирался к Боткину… и вдруг…

— Ну, Боткин кусается, — заметил генерал.

— Ах нет, он совсем не кусается; я слышал, он

---

[24] Notes: 24
Согласно Ветхому Завету, место, где будет происходит Страшный суд.

такой внимательный и все предскажет вперед.

— Его превосходительство заметил насчет цены, — поправил чиновник.

— Ах, что вы, всего три целковых, и он так осматривает, и рецепт… и я непременно хотел, потому что мне говорили… Что же, господа, как же мне, к Эку или к Боткину?

— Что? Куда? — приятно хохоча, заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой.

— Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! — восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. — Вот если б этакого подле положили!

Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать еще и не спешить заключениями. Этот сопляк-новичок — я его давеча в гробу помню: выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.

Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в ми-

нистерстве — дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая… мерзко и плотоядно хихикавшая.

— Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! — возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.

— А? что? — брезгливо и сюсюкающим голосом

прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче — соблазнительное и тревожное в высшей степени.

— Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

— Чего просите и что вам угодно?

— Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с… Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются…

— Не слыхал.

— Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич…

— Вы генерал Первоедов?

— Нет-с, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с, к вашим услугам, а генерал Первоедов…

— Вздор! И прошу вас оставить меня в покое.

— Оставьте, — с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.

— Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с…

— Оставьте, — повторил генерал.

— Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство! — вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос — голос барский и дерзкий, с утомленным, по моде, выговором и с нахальною его скандировкою, — я вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали.

— Как, граф Петр Петрович… да неужели же вы… и в таких молодых годах… Как сожалею!

— Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отвсюду извлечь все возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «милым полисоном»[25].

---

[25] Notes: 25
От фр. polisson — повеса.

Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu[26]. Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И представьте, я уже совсем был помолвлен — Щевалевская, трех месяцев до шестнадцати недоставало, еще в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом[27], развратили?..

— Ах, это ты, негодяй, ну хоть тебя Бог послал, а то здесь…

— Вы напрасно вашего соседа-негоцианта заподозрили в дурном запахе… Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.

— Ах, какой мерзкий! Только я все-таки рада; вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

— Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство, — я

---

[26] Notes: 26
В высших сферах *(фр.)*.

[27] Notes: 27
То есть учащимся Петербургского пажеского корпуса.

не вас, Первоедов, — ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который вас к m-lle Фюри постом возил, слышите?

— Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверьте…

— Ни на грош не верю, и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-père[28] сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казенного недочету оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают! Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и — и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты — да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тут-то я на него, на Свя-

---

[28] Notes: 28
Дедушка *(фр.)*.

той, и налег по-приятельски: «Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют»; так, представьте, у него только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Grand-père, grand-père, слышите?

— Chèr Клиневич, я совершенно с вами согласен, и напрасно вы… пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия… я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда все…

— Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катишь Берестову!

— Какую?.. Какую Катишь? — плотоядно задрожал голос старца.

— А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, grand-père, что это за мерзавочка… хорошего дома, воспитанна и — монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я и знал… Катишь, откликнись!

— Хи-хи-хи! — откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки. — Хи-хи-хи!

— И блон-ди-ночка? — обрывисто, в три звука, пролепетал grand-père.

— Хи-хи-хи!

— Мне… мне давно уже, — залепетал, задыхаясь, старец, — нравилась мечта о блондиночке… лет пятнадцати… и именно при такой обстановке…

— Ах, чудовище! — воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— Довольно! — порешил Клиневич. — Я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что вас так звали!

— Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к вашим услугам и очень-очень-очень рад.

— Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь всё знаете. Скажите, во-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим, и не движемся? Что за фокусы?

— Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.

— Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.

— Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу.

— К делу, к делу!..

— Он объясняет все это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это — не умею вам выразить — продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три… иногда даже полгода… Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой…

— Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

— Это… хе-хе… Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил,

что тут вонь слышится, так сказать, нравственная — хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться… и что это, так сказать, последнее милосердие… Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении…

— Довольно, и далее, я уверен, все вздор. Главное, два или три месяца жизни, и в конце концов — бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

— Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! — послышались многие голоса, и, странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться…

— Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!

— Я понимаю, Клиневич, — пробасил инженер, — что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.

— Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вам все объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка, и у нас все само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь — синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса.

— Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! — взвизгивала Авдотья Игнатьевна.

— Ах… ах… Ах, я вижу, что здесь будет весело; я не хочу к Эку!

— Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!

— Хи-хи-хи! — хихикала Катишь.

— Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Grand-père, вы согласны?

— Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнет первая свою би-о-графию.

— Протестую! протестую изо всех сил, — с твердостию произнес генерал Первоедов.

— Ваше превосходительство! — в торопливом волнении и понизив голос, лепетал и убеждал негодяй Лебезятников, — ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка… и, наконец, все эти разные штучки…

— Положим, девочка, но…

— Выгоднее, ваше превосходительство, ей-богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем…

— Даже и в могиле не дадут успокоиться!

— Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас на-пле-вать, — проскандировал Клиневич.

— Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.

— Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!

— Нет, не пшик… я и здесь…

— Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть медных пуговиц.

— Браво, Клиневич, ха-ха-ха! — заревели голоса.

— Я служил государю моему… я имею шпагу…

— Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали.

— Все равно-с; я составлял часть целого.

— Мало ли какие есть части целого.

— Браво, Клиневич, браво, ха-ха-ха!

— Я не понимаю, что такое шпага, — провозгласил инженер.

— Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! — прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга.

— Шпага, сударь, есть честь! — крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.

— Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!

— Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит! — раздался было голос простолюдина, и…

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: все смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились: решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и — ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию; ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

«Ну, — подумал, — миленькие, я еще вас навещу» — и с сим словом оставил кладбище.

Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и — даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и… А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить…

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное.

А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непременно пойду; дело совести!

Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний



ГЛАВА ПЕРВАЯ

У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, *нечисто,* то есть где замечают те или другие проявления какой-то нечистой или по крайней мере непонятной силы. Спириты старались много сделать для разъяснения этого рода явлений, но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело с страшными домами остается в прежнем положении.

В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора

Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого, и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кончины Павла Петровича, и в новейшей русской книге г. Кобеко. Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

Впрочем, тень Петрова была видима в стенах замка не одним императором Павлом, но и людьми к нему приближенными. Словом, дом был страшен потому, что там жили или по крайней мере являлись тени и привидения и говорили что-то такое страшное, и вдобавок еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях, встречавших покойного императора в замке, еще более увеличили мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению — «пошел под кадетов».

Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали

его «обживать» прежние инженерные кадеты. Это был народ еще более молодой и совсем еще не освободившийся от детского суеверия, и притом резвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всем им, разумеется, более или менее были известны страхи, которые рассказывали про их страшный замок. Дети очень интересовались подробностями страшных рассказов и напитывались этими страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать других. Это было в большом ходу между инженерными кадетами, и начальство никак не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошел случай, который сразу отбил у всех охоту к пуганьям и шалостям.

Об этом случае и будет наступающий рассказ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Особенно было в моде пугать новичков или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда

вынесли мертвым. «Старики» уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок, — а «малыши» этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и притом не одним, а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и, кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере, жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким «старым кадетам» и продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Он открыл какой-то неизвестный лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал, а по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простынею и становился в темном окне, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону.

Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую

фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора.

Шалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раз кивала головой и кланялась; кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры с предвозвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив «примерное наказание на теле», исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастие испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер под розгами», и так как в тогдашнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть «всего иссеченного» и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике буд-

то можно было читать надпись: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место, то оно выходит очень трогательно.

Вскоре за погибелью кадета спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, с тою, впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже, побаивались. Так, иные «ложные сказатели чудес» сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность.

Кадеты младшего возраста не знали «всей истории», разговор о которой, после происшествия с получившим жестокое наказание на теле, строго

преследовался, но они верили, что старшим кадетам, между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой престиж, и те им пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ламновский. Он едва ли был любимым начальником у кадет и, как говорят, будто бы не пользовался лучшею репутациею у начальства. Причин к этому у них насчитывали много: находили, что генерал держал себя с детьми будто бы очень сурово и безучастливо; мало вникал в их нужды; не заботился об их содержании, — а главное, был докучлив, придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укрощала тихая, как ангел, генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым

гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала.

Кроме такой славы по сердцу, генерал Ламновский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, к которым дети придирались, и когда хотели «представить» нелюбимого начальника, то обыкновенно выдвигали одну из его смешных привычек на вид до карикатурного преувеличения.

Самою смешною привычкою Ламновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это, по кадетским определениям, выходило так, как будто он «доил слова из носа». Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке «доение» носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват «нос».

Не любя Ламновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждения и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этою целью они распускали в корпусе молву, что Ламновский знается с нечистою силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ламновский поставлял для какого-то здания, кажется для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала как события, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив «похороны». Устроено же это было так, что когда у Ламновского, в его квартире, пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия: покрытые простынями кадеты, со свечами в руках, несли на одре чучело с длинноносой маской и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны, но в следующие именины Ламновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ламновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие

его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба, и вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Генерал Ламновский умер позднею осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид: холод, пронизывающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Молешотт[29] для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные.

Дни, когда умер Ламновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин: тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство, а в церкви служились, по православному уста-

[29] Notes: 29

Якоб *Молешотт* (1822–1893) — нидерландско-итальянский физиолог и философ.

новлению, панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, — все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба.

Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть: все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться; а потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то «встает» и опять кто-то «ходит». Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну вас к черту с такими рассказами! Вы только себе и людям нервы портите!» А потом и сами говорили то же самое, отчего унимали других, и к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял «батя», то есть какой тогда был здесь священник.

Он постыдил их за радость по случаю кончины

генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и насторожить их чувства.

— «Ходит», — сказал он им, повторяя их же слова. — И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем и есть сила, с которою не сладишь. Это серый человек, — он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек — совесть: советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет, — смотрите, чтобы серый человек им не скинулся да не дал бы вам тяжелого урока!

Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу, и, чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются: нет ли серого человека и в каком он виде? Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность — возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете: хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Этой порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения: настроение

чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия: мир обращается в сон, а сон — в мир… Это заманчиво и страшно, и чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно…

В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц, а потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ламновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ; покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Г-тон, В-нов, З-ский и К-дин, все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Из четырех молодцов, составлявших караул, — один, именно К-дин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ламновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще

прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К-дина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать «по части доения носа» и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины.

Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименитство Ламновского, К-дин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба, с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию.

Было известно, что это происшествие привело покойного Ламновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал «поклялся наказать К-дина на всю жизнь». Кадеты этому верили и, принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, нимало не сомневались, что он свою клятву над К-диным исполнит.

К-дин в течение всего последнего года считался «висящим на волоске», а так как, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опас-

ным, и в заведении того только и ожидали, что вот-вот К-дин в чем-нибудь попадется, и тогда Ламновский с ним не поцеремонится и все его дроби приведет к одному знаменателю, «даст себя помнить на всю жизнь».

Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался К-диным, что он делал над собою отчаянные усилия и, как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что «мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет».

Черт прорвал К-дина именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в восемь часов, но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна

кадетская смена: Г-тон, В-нов, З-ский и К-дин. Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души…

В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение: офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет: он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это! кто!» — и, торопливо просунув голову в дверь, другою половинкою этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади.

Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему безлюдию, что все ушли уже в церковь; тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму.

Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее — точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а, напротив, встанет и непременно отмстит за него. И отмстит страшно, по-мертвецки… К этому нужен только свой час — удобный час полночи,

…когда поет петух
И нежить мечется в потемках…

Но они же не достоят здесь до полуночи, — их сменят, да и притом им ведь страшна не «нежить», а серый человек, которого пора — в сумерках.

Теперь и были самые густые сумерки: мертвец в гробу, и вокруг самое жуткое безмолвие… На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листами кровельных загибов; печные трубы гудели с перерывами — точно они вздыхали или как будто в них что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнее

напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание: все как-то путается; кровь, приливая к голове, ударялась им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови — точно мельница мелет, но мелет не зерно, а перемалывает самоё себя. Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудокопам, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой… Выдерживать молчание становится невозможно, — хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться — что-то сделать самое безрассудное.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Один из четырех стоявших у гроба генерала кадетов, именно К-дин, переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал:

— Духи лезут к нам за папкиным носом.

Ламновского в шутку называли иногда «папкою», но шутка на этот раз не смешила товарищей, а, напротив, увеличила жуть, и двое из дежурных, заметив это, отвечали К-дину:

— Молчи… и без того страшно, — и все тревожно воззрились в укутанное кисеею лицо покойника.

— Я оттого и говорю, что вам страшно, — отвечал К-дин, — а мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да: надо быть выше предрассудков и пустяков не бояться, а всякий мертвец — это уже настоящий пустяк, и я это вам сейчас докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.

— Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму за нос.

И с этим, неожиданно для всех остальных, К-дин в ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело вскрикнул:

— Ага, папка, ты умер, а я жив и трясу тебя за нос, и ты мне ничего не сделаешь!

Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слова, как вдруг всем им враз

ясно и внятно послышался глубокий болезненный вздох — вздох очень похожий на то, как бы кто сел на надутую воздухом резиновую подушку с неплотно завернутым клапаном… И этот вздох, — всем показалось, — по-видимому, шел прямо из гроба…

К-дин быстро отхватил руку и, споткнувшись, с громом полетел с своим ружьем со всех ступеней катафалка, трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца.

Но этого было мало: покойник не только вздохнул, а действительно гнался за оскорбившим его шалуном или придерживал его за руку; за К-диным ползла целая волна гробовой кисеи, от которой он не мог отбиться, — и, страшно вскрикнув, он упал на пол… Эта ползущая волна кисеи в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным, тем более что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди.

Шалун лежал, уронив свое ружье, и, закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти и ждал, что покойник

сейчас за него примется по-свойски.

Между тем вздох повторился, и, вдобавок к нему, послышался тихий шелест. Это был такой звук, который мог произойти как бы от движения одного суконного рукава по другому. Очевидно, покойник раздвигал руки, — и вдруг тихий шум; затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось привидение. Серый человек! Да, испуганным глазам детей предстало вполне ясно сформированное привидение в виде человека… Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть может, это был еще более страшный гость, — сам дух замка, вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Привидение не было мечтою воображения — оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»: как то, так и это представляло «труп, в котором заключена душа».

Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения!.. Глаза виделись яркие, воспаленные и блестевшие болезненным огнем… Сверканье их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты.

Уста привидения были совершенно черны и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздох, который впервые послышался, когда К-дин взял покойника за нос.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Увидав это грозное привидение, три оставшиеся на ногах стража окаменели и замерли в

своих оборонительных позициях крепче К-дина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом.

Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу: его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением ловя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг, и еще шаг, и, наконец, оно близко, оно подошло к гробу, но прежде, чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К-дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожи его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцепило эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна; потом посмотрело на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и… перекрестило его…

Затем оно, едва держась на трясущихся ногах,

поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало…

Казалось, в гробу целовались две смерти; но скоро и это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни: панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь на случай посещения высоких особ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из отворенной церковной двери последние отзвуки заупокойной песни.

Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их в надлежащей позиции на надлежащее место.

Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул:

— Боже мой, как она сюда пришла!

Труп в белом, с распущенными седыми волосами, лежал, обнимая покойника, и, кажется, сам

не дышал уже. Дело пришло к разъяснению.

Напугавшее кадет привидение была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастие пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку.

Это был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление.

— С этого случая, — говорил он, — всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее.

А. Н. Апухтин. Между жизнью и смертью. Фантастический рассказ

C’est un samedi, à six heures du matin gue je suis mort.
***Emile Zola*[30]**



I

Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо:

— Все кончено.

По этим словам я догадался, что я умер.

Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог

---

[30] Notes: 30

Я умер в субботу, в шесть часов утра.

Эмиль Золя (фр.)

произнести ни слова, но еще изредка продолжал дышать. В продолжение всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь и она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни.

Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь; она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал «для здоровья» березовку и ссорился с остальной

прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.

Глаза мои были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня.

Вошел мой брат — сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились.

— Полно, Зоя, перестань, ведь слезами ты не поможешь, — говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном, — побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там.

Он с трудом высвободился от ее объятий и усадил ее на диван.

— Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения… Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?

— Ах, André, ради бога, распоряжайтесь всем… Разве я могу о чем-нибудь думать?

Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена.

— Это объявление ты отправишь в «Новое время», а затем пошлешь за гробовщиком; да

надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика?

— Ваше сиятельство, — отвечал, нагибаясь, Семен, — за гробовщиком посылать нечего, их тут четверо с утра толкутся у подъезда. Уж мы их гнали, гнали — не идут, да и только. Прикажете их сюда позвать?

— Нет, я выйду на лестницу.

И брат громко прочел написанное им объявление:

> *Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20 февраля, в 8 часов вечера, после тяжкой и продолжительной болезни. Панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера.*

— Больше ничего не надо, Зоя?

— Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово «прискорбие»? Je ne puis pas souffrir ce mot. Mettez[31]: «с глубокой скорбью».

Брат поправил.

— Я посылаю в «Новое время». Этого довольно.

---

[31] Notes: 31
Я не выношу этого слова. Напишите *(фр.)*.

— Да, конечно, довольно. Можно еще в Journal de S.-Pètersbourg.

— Хорошо, я напишу по-французски.

— Все равно, там переведут.

Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких треволнений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стоял возле нее, не желая нарушать ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.

— Будьте спокойны, ваше сиятельство, — говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные, — у нас все припасено: и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться: такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.

Кабинет опять начал наполняться. Гувернант-

ка привела детей.

Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать, но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья — любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала.

— Слушай, Настя, — сказал ей тихо Семен, — не нагибайся, как бы чего не случилось. Шла бы лучше к себе: помолилась — и довольно.

— Да как же мне за него не молиться? — отвечала Настасья слегка нараспев и нарочно громко, чтоб все ее слышали. — Это не человек был, а ангел Божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась.

Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробовать, могу ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос:

родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал: «Да, пошли». После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней.

Ключница Юдишна перестала наконец голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением.

— Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте, — сказал он раздраженным шепотом, — здесь вам не место.

— Да что с вами, Савелий Петрович! — прошипела обиженная Юдишна. — Я ведь не красть собираюсь.

— Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены — я к столу никого не допущу. Я недаром сорок лет князю-покойнику служил.

— Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу…

— Молиться можете, а до стола не прикасай-

тесь…

Люди эти из уважения ко мне ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. «Неужели я в летаргии?» — подумал я с ужасом. Года два тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, то есть что именно он сделал, чтобы выйти из гроба.

В столовой начали бить стенные часы; я сосчитал одиннадцать. Васютка, девочка, жившая в доме «на побегушках», вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово. Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовал ее прикосновения; мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги.

«Ну, значит, это не летаргия, — соображал я, пока меня облекали в чистое белье, — но что же это такое?»

Доктор сказал: «Все кончено», обо мне плачут, сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое; я, несомненно, умер, а между тем

я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше, но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с которой решился съехать. Все окна и двери открыты настежь, все вещи вывезены, все домашние вышли, и только хозяин застоялся перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь и которые теперь давят его своей пустотой.

И тут в первый раз в окружавших меня потемках блеснул какой-то маленький, слабый огонек — не то ощущение, не то воспоминание. Мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно…

II

Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завешены черной тафтой. Покров из золотой парчи закрывал мои ноги, в высоких серебряных паникадилах ярко горели восковые свечи. Направо от меня, прислонясь к стене, недвижно стоял Савелий с желтыми,

резко выдававшимися скулами, с голым черепом, с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз; он более, чем я, напоминал скелет мертвеца. Налево от меня стоял перед налоем высокий бледный человек в длиннополом сюртуке и монотонным, грудным голосом, гулко раздававшимся в пустой зале, читал:

«Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси».

«Отстави от мене раны Твоя, от крепости бо руки Твоея аз исчезох».

Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка, кружились веселые пары и разные люди, молодые и старые, то радостно приветствовали, то злословили друг друга. Я всегда ненавидел балы и, сверх того, с середины ноября чувствовал себя нехорошо, а потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основание надеяться, что нас посетят весьма высокопоставленные лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизнью и ясно сознал, что жить мне осталось недолго.

Вся моя жизнь была целым рядом балов, и

в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь свой век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек родится с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер; все зло происходит оттого, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого осуществления. И я начал припоминать все мои дурные поступки, все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть. Оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вел.

Воспоминания мои были прерваны легким шумом справа. Савелий, который давно начинал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и, принеся оттуда стул, откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина.

Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной как одно неизбежное целое, страшное по своей строгой логичности.

Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла, мне это было ясно как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я сознал два месяца тому назад.

Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие — одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт[32] удивительно метко изобразил это явление, сказав, что «грядущие события бросают перед собой тень». Если же люди иногда жалуются, что предчувствие их обмануло, это происходит оттого, что они не умеют разобраться в своих ощущениях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего-нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды.

Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще не было, но я чувствовал, что меня «клонит к смерти», так же

---

[32] Notes: 32
Имеется в виду шотландский поэт Томас Кэмпбелл (1777–1844).

ясно, как чувствовал, бывало, что меня клонит ко сну. Обыкновенно с начала зимы мы с женой составляли план того, как мы будем проводить лето. На этот раз я ничего не мог придумать, картины лета не складывались; казалось, что вообще никакого лета не будет. Болезнь между тем не приходила: ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги. В конце декабря я должен был ехать на медвежью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье (вероятно, и ее посетило предчувствие), умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил все-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется. На этот раз церемонная гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник-monstre[33] с тройками, цыганами и катаньем с гор. Простуда была неизбежна, но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упросила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на

---

[33] Notes: 33
Чудовище *(фр.)*.

следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских; мой брат, очень гордящийся своим происхождением, иногда говорил о нем: «Ведь это наш граф Шамбор»[34]. Независимо от этого я очень любил дядю: не поехать на похороны было немыслимо. Я шел за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонная гостья не стала медлить и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но до 20 февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбила с толку стольких ученых мужей. Я то поправлялся, то заболевал с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока наконец не умер сегодня по всем правилам науки в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер, я доиграл свою роль, не

[34] Notes: 34

Так называли последнего представителя старшей ветви династии Бурбонов, Анри Шарля д'Артуа (1820–1883).

прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы.

Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобретало для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актер, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли, какие пьесы?

Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг я вспомнил про замок Ларош-Моден.

III

Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет тому назад мы, ради здоровья моей жены, провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между

прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок.

Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске; был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья дерев — все это под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретало какой-то праздничный вид. Свежий бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко, что я когда-то жил здесь… Это ощущение, какое-то странное, ощущение неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую avenue[35], которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене.

— Какой вздор! — воскликнула жена. — Еще вчера ты говорил, что даже в детстве, когда ты с покойной матушкой жил в Париже, вы никогда

---

[35] Notes: 35
Подъездная дорога *(фр.)*.

сюда не заезжали.

Я не возражал, мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий двор (La cour d'honneur[36]), посыпанный красным песком; вот подъезд, увенчанный гербом графов Ларош-Моденов; вот зала в два света, вот большая гостиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный, специфический запах этой гостиной — какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева — поразил меня, как что-то слишком знакомое.

Я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком невпопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания.

— Не удивляйтесь моей рассеянности, граф, —

---

[36] Notes: 36
Парадный двор *(фр.)*.

сказал я, поймав этот взгляд, — я переживаю очень странное ощущение. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые года.

— Тут нет ничего удивительного: все наши старые замки похожи один на другой.

— Да, но я именно жил в этом замке… Вы верите в переселение душ?

— Как вам сказать… Жена моя верит, а я не очень… А впрочем, все возможно.

— Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.

Граф ответил мне какой-то шутливо-любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием, с каким принимает теперь.

— Может быть, вы перестанете смеяться, — сказал я, делая неимоверные усилия памяти, — если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее.

— Вы совершенно правы, вот она, налево.

— А пройдя эту аллею, мы увидим озеро.

— Вы слишком любезны, называя эту массу воды (cette pièce d'eau) озером. Мы просто увидим пруд.

— Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд.

— В таком случае позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро.

Я не шел, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях ту картину, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд, у плота была привязана лодка, на противоположном берегу пруда виднелись группы старых плакучих ив… Боже мой! Да, конечно, я здесь жил когда-то, катался в такой же лодке, я сидел под теми плакучими ивами, я рвал эти красные цветы… Мы молча шли по берегу.

— Но позвольте, — сказал я, с недоумением смотря направо, — тут должен быть еще второй пруд, потом третий.

— Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет.

— Но он был наверное. Посмотрите на эти красные цветы! Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно.

— При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро

пятьдесят лет, я родился в этом замке и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда.

— Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из старожилов?

— Управляющий мой, Жозеф, гораздо старше меня… мы спросим его, вернувшись домой.

В словах графа Модена, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким-то маньяком, которому не следует перечить.

Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его.

Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было.

— Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести…

— О да, принесите их — и поскорее. Надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом.

Жозеф принес планы, граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть

этого парка носила название: les étangs[37].

— Je baisse pavillon devant le vainqueur[38], — произнес граф с напускной веселостью и слегка бледнея.

Но я далеко не смотрел победителем. Я был както подавлен этим открытием — словно случилось несчастье, которого я давно боялся.

Сходя в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и наклонная к мистицизму.

К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я — мы оба были так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный выговор за нелюбезность.

После этого жена моя часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо.

Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом

---

[37] Notes: 37
Пруды *(фр.)*.

[38] Notes: 38
Сдаюсь на милость победителя *(фр.)*.

моей жизни; я даже старался не думать о нем как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларош-Моден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно, был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа, одно казалось мне несомненным: я был там очень несчастлив; иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нем.

Иногда эти воспоминания делались несколько определеннее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпение Савелия и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.

Савелий и псаломщик спали долго. Ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные

шторы больших окон.

IV

Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидя спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приоделся, вероятно, выпил здоровую порцию «березовки» и вернулся окончательно ожесточенный.

«Кая польза в крови моей, внегда сходити ми во истление», — начал заунывным голосом псаломщик.

Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела детей. Соня на этот раз была спокойнее, а Коле очень понравился парчовый покров, и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелию, причем высказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов.

Все они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это были люди простые, из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием; лица же моего круга — даже самые близкие мне люди — относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если б я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелию, и он сделал ей строгое замечание.

— Да что же мне делать, Савелий Петрович? — оправдывалась Настасья. — Уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится.

— Ну а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом.

— За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович? — вступился Семен. — Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет.

— Знаю я этих шлюх законных, — проворчал Савелий и отошел в свой угол.

Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов; только губы ее перекосились от

гнева и в глазах показались слезы.

«На аспида и василиска наступиши, — читал псаломщик, — и попереши льва и змия».

Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо:

— Вот вы этот аспид и есть.

— Кто это аспид? Ах ты…

Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка вбежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустела.

Марья Михайловна — тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытой черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя, в свою очередь, мою жену. Жена была в белом ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза.

— Voyons, Zoé, mon enfant, — уговаривала ее

графиня, — soyez ferme[39]. Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми на себя.

— Oui, ma tante, je serai ferme[40], — отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели.

Жена моя, несомненно, была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренно огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.

Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий, еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию:

— Ну что, брат Савелий, потеряли мы нашего

---

[39] Notes: 39
Ну, ну, Зоя, дитя мое… мужайся *(фр.)*.

[40] Notes: 40
Да, тетушка, я буду мужественна *(фр.)*.

князя?

— Да-с, ваше превосходительство, сорок лет служил князю и мог ли я думать…

— Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит.

И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его.

— Ну вот, Иван Ефимыч, — сказал генерал, — еще у нас одним членом стало меньше.

— Да, с Нового года это уж четвертый.

— Как — четвертый? Не может быть!

— Как «не может быть»? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антоныч, потом князь Василий Иваныч…

— Ну, князя Василия Иваныча считать нечего, он два года не ездил в клуб.

— Однако он все-таки возобновлял билет.

— Ползиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрыч. Помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни…

— Что делать! «Не весте бо ни дне, ни часа…»

— Да, это все отлично! Но весте не весте — это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там

будешь! А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрыч поехал на похороны Василия Иваныча и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились.

Сенатора опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее.

— Да-с, удивительная судьба была этого князя Василия Иваныча. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает; казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника.

— Ну и язычок же у вас, Иван Ефимыч! Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица: de mortis, de mortibus…[41]

— Вы хотите сказать: de mortuis aut bene, aut nihil[42]? Но эта пословица нелепая, я ее несколько поправлю; я говорю: de mortuis aut bene, aut male[43]. Иначе ведь исчезла бы история, ни об одном историческом злодее нельзя было бы про-

---

[41] Notes: 41
О смерти и о мертвых… *(лат.)*

[42] Notes: 42
О мертвых следует говорить либо хорошо, либо ничего *(лат.)*.

[43] Notes: 43
О мертвых следует говорить или хорошо, или плохо *(лат.)*.

изнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое, недаром у него было столько скверных историй…

— Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш… По крайней мере, о нашем дорогом Дмитрии Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек…

— К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея…

— Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?

— Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпится в обществе, это доказывает только нашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему такому человеку не следует и руки подавать. Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников…

В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.

Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый и очень замотавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек; он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине зрачков, — маленькую радость при мысли, что у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но, с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить! Долг этот он отдаст со временем, а теперь… известно ли кому-нибудь об этом долге,

записан ли он мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же.

Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал расспрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным.

— Видите ли, князь, — начал, запинаясь, Звягин, — я был должен покойному…

Брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него.

— Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долголетняя служба…

Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошел на прежнее место. Его красные щеки прыгали, глаза беспокойно бегали по зале. Тут в первый раз после смерти я пожалел о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему: «Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без того денег довольно».

Зала быстро наполнялась. Дамы входили большею частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали у брата, могут ли они видеть жену; брат с

молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания решительно бросаются головой вниз в холодную воду.

К двум часам собрался весь знатный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать их на лестницу.

Я всегда с особым умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня «жизнь бесконечная»; выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой «бесконечной жизнью», я именно находился в том месте, «иде же несть болезни, печали и воздыхания».

Напротив того, земные, доходившие до меня воздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыдании, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой

моей сделалось дурно, ее опять увели.

Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: «Во блаженном успении…» — но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.

V

Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке: никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только думал — настойчиво, усиленно думал.

Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет, есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убежден в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была

бы вопиющей нелепостью. Человек мыслит, чувствует, сознает все окружающее, наслаждается и страдает — и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел — это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что сознавало и себя, и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, отчего сознанию суждено исчезать бесследно? Если же оно исчезает, откуда оно появляется и какая цель такого эфемерного появления? Я считал это нелепостью и потому допустить не мог.

Теперь я на собственном опыте видел, что сознание не умирает, что я никогда не переставал и, вероятно, никогда не перестану жить. Но в то же время назойливо восставали передо мной новые «проклятые вопросы». Если я никогда не умирал и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существований? По какому закону они происходят и к чему в конце концов приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все или хоть некоторые минувшие существования, но отчего же именно этого воспоминания лишен человек? За что он осужден быть вечным невеждой, что даже понятие о бессмертии является ему только в виде догадки?

А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы, как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларош-Моден?

И я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что, если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольет свет на все остальное. Никакое внешнее впечатление меня не развлекало, я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которых я не мог наполнить; лица людей были окутаны туманом, в словах не было связи, все состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Моденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: «Ci-git très haute et recommandable dame…»[44] Дальше идет имя, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на котором

[44] Notes: 44
«Здесь покоится достойная дама…» *(фр.)*

я читаю: «Ci-git le coeur: du marquis…»[45] Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: «Zo… Zo…» Я напрягаю память и, к великой радости, явственно слышу имя: «Zorobabel! Zorobabel!» Это имя, столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я — на дворе замка, в большой толпе народа. «A la chambre du roi… A la chambre du roi!..»[46] — повелительно кричит тот же резкий, нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, то есть комната, которую занимал бы король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей вижу эту комнату в замке Ларош-Моден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя, в отчаянной позе остановившегося над ручьем, и трех настигающих его охотников. В глубине комнаты — альков, увенчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне большой портрет короля во

---

[45] Notes: 45
«Здесь покоится сердце маркиза…» *(фр.)*

[46] Notes: 46
«В комнату короля… В комнату короля!..» *(фр.)*

весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые ноги в лосинах и ботфортах, но лица никак разглядеть не могу. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. «Zorobabel! Zorobabel!» — кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина развертывается передо мною.

VI

Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть, и вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями с одноцветного неба, ветер гудел и свистал по широкой улице, и, поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил ее в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешел на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги: налево, в гору, продолжалось

село, направо, словно нагнувшись над оврагом, стояла старая деревянная церковь с зеленым куполом. Я пошел направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами, между могилами качались по ветру мокрые, почти обнаженные ветви молодых берез; вся земля, словно ковром, была покрыта желто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсем голое поле. И, несмотря на эту безотрадную картину, чем-то родным и хорошим повеяло на меня из далекой протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настежь? В какое время жил я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? Иноземный ли разорил это гнездо, или свои внутренние воры выгнали жителей в леса и степи?

Я вернулся к мостику и пошел налево в гору. И там то же безлюдье, те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел наконец живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги,

но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завыла.

Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. Ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи… Но как ни напрягал я свою память, я не мог вспомнить ничего подобного. Словно круглый год серое небо поливало несчастное село мелким дождем, да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы.

Но вот среди мертвого безмолвия раздается колокольный звон. Звук колокола такой надтреснутый и жалкий, что кажется не звоном, а голосом, выходящим из какой-то наболевшей медной груди. Я иду на этот звон и вхожу в церковь. Церковь полна молящихся, простым, серым людом. Служба идет какая-то необычайная, настроение также не такое, как всегда бывает в церкви. По временам слышатся стоны в разных углах храма; слезы текут по загорелым, грубым лицам. Я пробираюсь через толпу по неровному, продавленному полу направо, где горит множе-

ство свечей перед чудотворной иконой Божией Матери. Икона черная, без ризы, только золотой венчик окаймляет голову Богоматери; глаза ее смотрят не то строго, не то с каким-то недоумевающим сожалением. Перед иконой развешано множество рук, ног и глаз из серебра и слоновой кости — приношения больных, жаждущих исцеления. С амвона раздается старческий, неотчетливый голос священника, читающего новую для меня молитву:

«Боже милосердный, воззри на рабов Твоих, здесь предстоящих, и помилуй нас».

«По беззакониям нашим караешь Ты нас, но слишком тяжел для нас гнев Твой».

«Господи, останови карающую руку Твою и смилуйся над нами».

«Лютый враг одолевает нас, у нас нет ни вождей, ни жилищ, ни хлеба».

«За грехи наши гибнем мы, но за что должны гибнуть наши неповинные дети?»

«Мы терпеливы, мы покорны воле Твоей, но все же мы люди, и терпеть нам не хватает силы».

«Бороться мы не можем, помощь не придет ниоткуда, и вот мы в последний раз пришли к Тебе и молим: спаси нас».

«Господи, не доводи нас до ропота, не доводи

нас до отчаяния. Ты дал нам жизнь, не отнимай ее до срока».

Но вот посреди молящихся послышалось движение. Толпа расступилась, и священник быстрыми шагами подошел к чудотворной иконе. Священник был маленький, старенький, с седой, всклокоченной бородкой. Старая, полинявшая риза была сшита не на его рост и волочилась по полу.

«Владычица Небесная, — воскликнул он громким, взволнованным голосом. — Ты ближе к нашим людским страданиям. Ты знала, что такое мучиться и терпеть».

«Любимого и неповинного Сына своего Ты видела распятым на кресте. Ты видела Его мучителей, издевавшихся над Ним в Его последний, смертный час».

«Какая скорбь может сравниться с такой скорбью?»

«Скажи же Ему, Сыну Твоему, Сыну Твоему…»

Священник не мог продолжать — голос его задрожал, и он с рыданием повалился на землю. Вслед за ним вся тысячная толпа упала на колени. Теперь стон уже не раздавался по углам церкви, он стоял сплошной массой, как стоит иногда дымный столб от ладана среди храма. Сердце мое

переполнилось умилением и братским чувством общей народной скорби; я также бросился на колени и забылся.

Когда я очнулся, церковь была пуста. Все свечи в паникадилах были потушены, только маленькая лампадка горела перед темным ликом Богоматери. При тусклом освещении выражение лица ее изменилось. Сожаления в нем не было, глаза ее смотрели безучастно и строго.

Я вышел из церкви со смутной надеждой кого-нибудь увидеть, встретить… Увы! Вокруг меня то же безмолвие и та же пустота. По-прежнему одноцветно-серое небо, по-прежнему мелкий дождь добивает желто-бурые листья, и опять этот ветер, ужасный, несносный ветер клонит до земли обнаженные ветви березок и надрывает душу своим однообразным свистом…

VII

Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предо мной проходили далекие, давно забытые и, как мне казалось, никогда не виданные страны, дикие леса, какие-то гигантские бои, в которых к людям примешивались и звери. Но это были туманные очертания, из которых еще не складывалось никакого определенного

образа. Среди этих картин промелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома; во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет десяти, худая, бледная и некрасивая, только глаза у нее были чудесные: черные, глубокие, с серьезным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном, нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я ее знал когда-то… Но кто была она? Была ли она мне дочь, или сестра, или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг мучил этого ребенка? А может быть, я сам мучил ее когда-то и она являлась мне во сне как наказание и упрек?

Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни,

но, вероятно, их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?

Ввиду этого незнания мое теперешнее положение, то есть состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство: меня потянуло опять в ту юдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглушить в себе это ощущение, но оно росло, крепло, побеждало все доводы — и наконец перешло в страстную, неудержимую жажду жизни.

VIII

О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования, мне все равно, чем родиться: князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят: «Не в деньгах счастье» — и, однако, считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за

деньги. Между тем счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека. Где начинается и где кончается это довольство? Все сравнительно, все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно двести тысяч. Я и прежде так думал, но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся мной за аксиомы. Теперь эти миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее. Я, например, страстно любил искусство и думал, что чувство красоты доступно только людям культурным, богатым, а без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? Понятия об искусстве так же условны, как понятия о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрят на добро и зло различно; что считается доблестью в одной стране, то в другой признается преступлением. К вопросу об искусстве, кроме этих различий времени и места, примешивается еще бесконечное разнообразие индивидуальных вкусов. Во Франции, считающей себя самой культурной страной мира, до нынешнего столетия не понимали и не

признавали Шекспира; таких примеров можно вспомнить много. И мне кажется, что нет такого бедняка, такого дикаря, в которых не вспыхивало бы подчас чувство красоты, только их художественное понимание иное. Весьма вероятно, что деревенские мужики, усевшиеся в теплый весенний вечер на траве вокруг доморощенного балалаечника или гитариста, наслаждаются не менее профессоров консерватории, слушающих в душной зале фуги Баха.

О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица, слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми… со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомнить те ужасные условия бессилия и неведения, среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорей можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает. Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих. Он не понимает цели всех этих последовательных существований и совершает непонятный для него обряд жизни среди мрака

и разнородных страданий. А как ему хочется вырваться из этого мрака, как он силится понять, как хлопочет устроить и улучшить свой быт, как напрягает он свой бедный ограниченный разум! И все его усилия пропадают даром, все изобретения — часто гениальные — не разрешают ни одного из волнующих его вопросов. Во всех своих стремлениях он встречает предел, дальше которого идти не может. Он, например, знает, что, кроме Земли, существуют другие миры, другие планеты; с помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к Земле и когда от нее удаляются; но что происходит на этих планетах и есть ли там подобные ему существа — об этом он может догадываться, но наверное не узнает никогда. А он все-таки надеется и ищет. В Америке, на одной из самых высоких гор, собираются зажечь электрический костер, чтобы подать сигнал обитателям Марса. Разве не трогателен этот костер по своей детской наивности?

О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам! Я хочу жить общей с ними жизнью, хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дрязги, которым они придают такое важное значение. Многих из

них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть — но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!

О, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой и синее небо покрывается яркими звездами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки и целые скалы волн разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челноке навстречу этой буре, хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи, хочу идти с кинжалами на разъяренного медведя, хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезывает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного сена и запах дегтя, хочу слышать пение соловья в кустах сирени и квакание лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой, хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни.

О, только бы жить! Только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть!..

IX

И вдруг я вскрикнул, всей грудью, изо всей силы вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос; это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза; яркий свет морозного ясного утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.

— Слушай, Васютка, — раздался голос Софьи Францевны, — проберись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку.

— Да как же я туда проберусь, тетенька? — отвечала Васютка. — Сейчас князя выносить будут, гостей собралось там видимо-невидимо.

— Ну как-нибудь проберись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец.

Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами[47], и держал в руке какое-то огромное полотенце.

---

[47] Notes: 47

Плерезы — траурные нашивки на рукавах и воротнике.

— Ну что? — спросил он, вбегая.

— Все благополучно, поздравляю, — произнесла торжественно Софья Францевна.

— Ну слава тебе, Господи, — сказал Семен и, даже не посмотрев на меня, побежал обратно.

— Мальчик или девочка? — спросил он уже из коридора.

— Мальчик, мальчик!

— Ну слава тебе, Господи, — повторил Семен и скрылся.

В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью.

— Нашла тоже время — нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. О, чтоб тебя!..

Юдишна с ожесточением плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не ответила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой.

А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути, и во время этого глубокого сна забыл все, что про-

исходило со мной до этой минуты.

Чрез несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание.

Я вступал в новую жизнь…

А. Е. Зарин. Дар сатаны. Рассказ



I

Было всего восемь часов вечера, когда Федор Андреевич возвращался к себе домой — в первый раз в жизни в свою собственную квартиру, что забавляло и радовало его совсем по-детски.

Он добродушно кивнул дворнику в ответ на его почтительный поклон, деловым тоном спросил, не было ли на его имя писем, и степенным шагом прошел под ворота, с радостным трепетом сжимая рукой в кармане ключ от собственной квартиры!..

По довольно опрятной лестнице (хотя она служила для жильцов и парадной, и черной) он не спеша стал подниматься к себе в третий этаж, когда вдруг увидел на повороте господина, шедшего по лестнице впереди него. Невысокого роста, скорее полный, чем худой, в шляпе котелком и теплом пальто с рыжим вытертым (когда-то

бобровым) воротником, господин этот, пыхтя и отдуваясь, подымался вверх, и Федор Андреевич несколько замедлил свой шаг. Когда господин поднимался на площадку третьего этажа, Федор Андреевич был от него ниже ступенек на шесть. Господин взошел на площадку, повернул налево, и вдруг сразу смолкли и его шаги, и его сопение. Федора Андреевича это невольно поразило; он в два шага очутился на площадке и с изумлением огляделся: ни на площадке, ни на лестнице незнакомца не было. Федору Андреевичу такое исчезновение показалось подозрительным. С быстротой юноши он поднялся до площадки пятого этажа и спустился назад в полном недоумении: незнакомец исчез без следа. Ни одна дверь не стукнула, не открылась, мимо него таинственный незнакомец не проходил, — куда же он девался?

Но тут Федор Андреевич увидел на двери ярко вычищенную медную доску со своей фамилией, вынул из кармана ключ и, отворяя дверь в свою новую квартиру, сразу забыл о незнакомце и его таинственном исчезновении.

Федор Андреевич вошел в крошечную прихожую, тщательно запер дверь, повесил пальто и прошел в первую комнату своей квартиры.

Здесь он зажег одну лампу на переддиванном столе, другую на стене, третью на еще не убранном письменном столе и с наслаждением опустился на диван, созерцая свои владения.

Крошечная квартирка его имела всего две комнатки с коридором и кухнею, но для него этого было вполне достаточно.

Большую комнату он назначил для занятий, еды и приемов. Между окон поместился письменный стол и кресло, в углу — этажерка, вдоль стены — книжный шкап; напротив шкапа встал черный крошечный сосновый обеденный стол, над которым теперь весело горела стенная лампа с вертушкой; в углу — деревянная колонна, под белый мрамор, с гипсовой фигурою Наполеона в его классической позе. Наконец, свободный угол комнаты (в третьем — стояла печка) заняла гостиная: стол, диван, два кресла на войлочном ковре с изображением крадущегося среди зарослей тигра.

На окнах висели занавески, на дверях — портьеры, в четырех корзинах стояли растения, а по стенам висели несколько гравюр и дюжины две кабинетных портретов в рамках. Все же в совокупности имело такой уютный, приветливый вид, что Федору Андреевичу был вполне прости-

телен его самодовольный восторг.

Конец этим скучным путешествиям по меблированным комнатам с их шумом и гамом, с непрошеными знакомствами, с буйными или навязчивыми соседями…

В своей квартире человек всегда сам себе хозяин.

И наконец, это уже собственность, оседлость… Растопив печку, заварив чай и ярко осветив комнату, как легко и хорошо можно поработать, помечтать и… вдохновиться…

Федор Андреевич был поэт.

При этих мыслях он взглянул на свой письменный стол, который, еще не убранный, казался каким-то унылым остовом, на пустую этажерку и книжный шкап и тотчас вспомнил, что ему предстоит еще уборка.

Он бодро прошел в соседнюю крошечную комнату, предназначенную для спальной, переоделся и, вернувшись, занялся уборкой, для чего вытащил из стола все ящики, битком набитые всякими безделушками и бумагами, а из кухни перетащил с десяток свечных ящиков с книгами.

Письменный стол он убирал с особою тщательностью, как иная девица убирает свой туалетный стол, и в этом отчасти сказывался его характер.

А характер у него был прекрасный! Кажется, не было такого человека, который, познакомившись с ним, не полюбил бы его за его открытое сердце, за его громкий, искренний смех, за прямой взгляд его больших серых глаз.

А может быть, его любили и за то, что сам он всех любил и причиненного ему зла никогда не помнил.

Испытав в молодости борьбу и лишения в таком горниле, как Петербург; без всякой поддержки прожив годы университетского учения, служа в одном из министерств уже шестой год без всякого движения, в то время как другие, гораздо менее его способные, перегоняли его, Федор Андреевич к тридцати годам жизни сумел сохранить в своей душе веру в людей и всегда с горячим убеждением говорил, что в своей жизни ни разу не встречался с дурным человеком.

Знакомые слушали его с ласковой, снисходительной улыбкой и качали головами, а отходя от него, переглядывались и чуть заметно пожимали плечами.

Федор Андреевич был поэт, но не из тех, которые считают себя призванными нести на своих раменах все бедствия мира и потому вечно ноют; не из тех, которые, считая себя пророками,

бичуют порок и проповедуют прописные добродетели, а просто — поэт, в рифмованных звуках изливавший впечатления своей души.

И все казалось ему прекрасным и радостным.

Тем более люди.

Среди окружающих его не было ни глупых, ни злых, ни корыстолюбивых, ни завистливых, и, если ему случалось слышать осуждение того или другого поступка своего ближнего, он всегда находил ему оправдание.

Про начальника отделения, где он служил, Василия Семеновича Чемоданова, говорили, например, что он черствый эгоист, который для своей карьеры не поступится ничем.

И самая фигура его, сухая, длинная, прямая как палка, облаченная в вицмундир без одного пятнышка, в сорочку, накрахмаленную так туго, что, переломись у него шея, голова держалась бы все так же прямо над стоячим воротничком; самая физиономия с выскобленною кожею на верхней губе и подбородке, с тщательно расчесанными баками, с презрительным взглядом из-за стекол золотого пенсне, с узким лбом и голым черепом; величественная походка аиста — все казалось, подтверждало общее о нем мнение. Но Федор Андреевич с ним не соглашался.

Он указывал на массу дел, которую с легкостью исполняет Чемоданов; на огромную семью с доброй полудюжиной племянников и племянниц, которых он содержит, на всем известные факты его неподкупной честности. И, совершенно забывая все злые и дурные о нем рассказы, искренно уважал его.

В то время, когда другие смеялись над манией Петра Петровича Штрицеля мнить себя писателем, он горячо отстаивал за ним это благородное звание, указывая на целый ряд его стишков, напечатанных в разных журналах.

Павла Ивановича Тигрова, вопреки общему мнению, он считал за умного человека, не обладающего только даром слова, и даже Никодима Никодимовича Пузана, признанного всеми за лицемера, он считал возвышенной душою.

Словом, все его знакомые были милейшие люди; все, что они делали, казалось ему прекрасным, и даже лица, встречавшиеся на улице, казались ему всегда симпатичными и добрыми.

В то же время Федор Андреевич не был глуп, как думали некоторые из его знакомых. Нет, это было просто свойство его души видеть в человеке прежде всего его хорошие стороны.

Когда Федор Андреевич закончил уборку, бы-

ло уже двенадцать часов ночи. Он довольным взглядом оглядел свой письменный стол, ярко освещенный кабинетной лампой и теперь прибранный; посмотрел на шкап, за стеклом которого строгими рядами вытянулись корешки книг; на этажерку с журналами и бумагами — и устало потянулся.

Потом, совершив свой ночной туалет, он загасил лампы и вошел со свечою в спальную, где тотчас и улегся в постель. Но едва он загасил свечу и плотнее закутался в одеяло, как произошло нечто удивительное…

II

Прежде всего ему показалось, что в соседней комнате мелькнул свет. Он торопливо встал, думая, что одна из ламп не погасла; но в комнате было совершенно темно и торжественно тихо. Он улегся, и тогда до его слуха явственно донеслось шарканье туфель. Они были, вероятно, без задков, и время от времени в тишине слышался стук набоек.

Федор Андреевич снова встал, зажег свечу, вышел в соседнюю комнату, крошечную переднюю, прошел по коридору в кухню и вернулся назад. Везде было тихо и пусто, только в кухне за дровя-

ным ящиком суетливо бегали мыши.

Федор Андреевич не был ни труслив, ни суеверен. Это странное шарканье он приписал акустическим свойствам своей квартиры и спокойно улегся снова в постель.

Но едва он погасил свечу, как в коридоре раздались опять те же звуки. Как будто кто-то вышел из кухни и медленной, старческой походкой шел по коридору к передней. Федор Андреевич невольно откинул одеяло и насторожился. Темнота начинала пугать его. Он встал, поднял занавеску и опять улегся.

«Теперь гуляй», — усмехнулся он, взглянув на бледную полосу света, которую проложил яркий месячный луч. Луч шел вдоль стены, освещая стул против кровати, платяной шкап, до самого угла, где стоял умывальник.

Федор Андреевич закрыл глаза. А туфли шаркали… они уже прошли коридор, прихожую, шаркают по соседней комнате и, наконец, здесь, подле кровати.

Федор Андреевич открыл глаза и вдруг с легким криком поднялся и сел на постели. Он почувствовал, как кожа стягивается у него на черепе, шевеля волосы, и по спине пробегает холодная дрожь.

То, что он увидел, показалось ему до невероятности странным. В полосе света мимо него, шаркая туфлями, прошел маленький, сморщенный старик в пестрой ермолке[48] и халате; он дошел до стула и сел на него, прямо против кровати. Сел, положил желтые руки себе на колена и вперил тусклый взор в Федора Андреевича, который в этот миг со своим бледным испуганным лицом сам казался выходцем с того света.

И они молча смотрели друг на друга в голубоватом сиянии лунного света…

Виденье стало казаться Федору Андреевичу реальным. В слабой, скорченной фигуре старика не было ничего демонического, а его тусклый взгляд был совершенно безобиден.

Федор Андреевич слегка оправился, но не мог еще совладать со своим голосом и хриплым шепотом спросил:

— Кто вы и что вам надо?..

— Вы мне будете помогайть; я — вам… Я вам много хорошего сделаю! О! — ответил дребезжащим голосом старик, хотя фигура его осталась неподвижной, а сморщенное лицо мертвенно-покойно.

---

[48] Notes: 48
Ермолка — круглая шапочка без полей.

— Кто же вы? — повторил уже явственнее свой вопрос Федор Андреевич.

— Я? Карл-Эрнест-Иоганн-Фридрих Пфейфер. Фридрих Пфейфер, аптекарь.

— Как вы попали сюда?

— Я? Я тут шестнадцать лет! Мне нет покоя. О, шестнадцать лет! Биль здесь много людей, глюпых людей. Я ходил на всех. Все боялся. Глюпые люди! Ви мне будете помогайть, я вам. Я от вас покой иметь буду. О, шестнадцать лет… на ногах… здесь… ужасно!.. — И в крошечной комнате послышался как бы вздох.

— Как же я дам вам покой? — спросил Федор Андреевич и опустился на подушки, приняв полулежачее положение.

— Ви вынимайть меня! У меня есть штук! О, какой! Я буду открывать вам, а вы меня — вон.

— Откуда?

— Здесь! Шестнадцать лет здесь… Карл Иваныч Шельм… о, самый настоящий Шельм! У него аптек, хороший аптек на Гороховой, и он — таракан! О, хитрый шельм!..

— Я ничего не понимаю, — с недоумением произнес Федор Андреевич.

— О, это длинный историй. Я вам буду рассказывайть. Вот…

В это время где-то за стеной часы глухо пробили три, и старичок вдруг заволновался. Очертания его стали бледнеть, расплываться; вместо старичка появилось бледно светящееся облако, которое медленно растворилось в воздухе…

Раздался оглушительный звонок, от которого Федор Андреевич проснулся и вскочил с постели. Зимнее солнце ярко светило в его окошко. Он было взглянул на часы. Стрелки показывали десять. Наскоро накинув на себя пальто, заменявшее ему халат, Федор Андреевич отворил дверь и впустил дворника, которого вчера еще договорил прислуживать по утрам, а потом снова лег в постель, чувствуя, что не выспался. Сон или видение продолжало как-то странно беспокоить его.

По коридору стучали сапоги дворника, из кухни доносилась его возня с самоваром. Потом он вошел в спальню с охапкой дров, уложил их в печь и, присев на корточки, стал разжигать поленья.

— Послушай, — заговорил Федор Андреевич, — тебя как звать?

Дворник обернул к нему свое молодое безбородое лицо и ответил:

— Иван!

— Скажи, пожалуйста, Иван, отсюда давно съехали прошлые жильцы?

— А што? — И Иван как-то странно взглянул на Федора Андреевича.

— Да так спрашиваю. Давно?

— Месяц как съехали.

— А долго жили?

— Жили неделю… задаток зажили.

— А раньше были жильцы?

— Были.

Дворник отвечал как-то неохотной каждый раз после ответа с удвоенным старанием начинал дуть в печку.

— И жили тоже неподолгу? — продолжал допытываться Федор Андреевич.

— Всяко было…

— Ну… самое большее?

— Месяц жили.

— А больше?

— Больше не жили.

— Почему же уезжали?

Дворник раздул пламя и поднялся с полу. При последнем вопросе он усмехнулся и ответил:

— Боятся, слышь! Говорят, будто неладно тут, старик какой-то бродит. Ну и пужаются.

Потом, постояв немного и видя, что барин лежит молча с закрытыми глазами, сказал:

— Я все изготовил. Извольте запереть! — После

чего осторожно вышел из комнаты.

Федор Андреевич тотчас встал. «Значит, не сон, — решил он, заперев дверь за дворником и начиная одеваться, — выходит, у меня квартира с привидением. Вот бы Прибыткову!» При этой мысли он улыбнулся, и к нему вернулось обычное хорошее расположение духа.

III

В двенадцать часов Федор Андреевич надел шубу и пошел на службу. У ворот он приостановился и сказал дворнику, чистившему панель:

— Если ко мне, Иван, придут письма, ты их возьми к себе.

— Слушаю-с! — ответил дворник.

«Славная физиономия, — подумал, отходя, Федор Андреевич, — открытая, честная. Чисто русская»!

Он дошел до угла и остановился подле газетчика.

— Будешь каждое утро доставлять мне газету, — сказал он ему, подавая визитную карточку. — Сейчас по этой улице, дом номер семнадцатый!

— Слушаю-с, — ответил газетчик, снимая фуражку.

— Да, только, пожалуйста, не запаздывай с

ней, — прибавил Федор Андреевич, — не позднее десяти часов.

— Будьте покойны!

Федор Андреевич двинулся дальше.

— Ба, Федор Андреевич, вы здесь? — раздался подле него возглас. — Каким способом?

Федор Андреевич обернулся и с радушной улыбкою поспешил пожать руку своего сослуживца, Орехова.

Необыкновенно высокого роста и необыкновенной худобы, Орехов походил на вешалку, на верхушку которой поставлен цилиндр, а на рогатку повешена изрядно потрепанная шинель. Лицо его представляло как бы один профиль, да и то очень печального вида, с длинным загнутым носом.

— Каким способом? — ответил Федор Андреевич, идя рядом с Ореховым. — Здесь поселился, у вас; квартиру снял. Прехорошенькая, две комнатки…

— С новосельем, значит! — произнес Орехов унылым тоном и опустил голову, завертываясь в шинель; словно сказал своим близким «прощайте» и закутался в саван. Унылый тон и мрачный вид никогда не покидали Орехова, и если случалось ему на миг оживиться и придать себе

развязный вид, то, спохватившись, он тотчас с удивительным искусством изображал опять человека, приговоренного к смертной казни.

Федор Андреевич прошел с Ореховым в совершенном молчании улицу и, наконец, завертывая за угол, произнес стереотипную фразу:

— Как поживаете? Как здоровы?

Орехов словно ждал этих вопросов и сначала испустил протяжный вздох, а потом заговорил тоном жертвы, покоряющейся судьбе:

— Все так же! Работаю до пяти, потом работаю до десяти, потом до двух, и так день в день. Работник-то, батюшка, я один, а семья — сам-шесть[49]! О-ох! Жена не помощница. Денег не хватает. Это, голубчик, не по-вашему. Да! Здоровье? Разве я смею хворать? Не смею: значит, и здоров! — И, попав на любимую тему, он уже говорил всю дорогу, не умолкая.

По его словам, он представлял собою клячу, которую впрягли в фургон, набитый седоками, и гонят без устали вперед и вперед. Его тон, фигура, самое содержание беседы вызывали всегда сочувствие в слушателях, и он — как другие при общем внимании гордо выпячивают грудь, ста-

---

[49] Notes: 49
То есть в шесть раз больше.

новятся развязнее — по мере речи становился все меланхоличнее и наконец смолкал, на половине фразы прерывая себя тяжким вздохом.

Федор Андреевич чувствовал горячую жалость к Орехову, и ему даже было немного совестно за свою сравнительно обеспеченную жизнь.

Они подошли к подъезду и вошли в помещение министерства. Бойкие сторожа предупредительно бросились им навстречу.

Федор Андреевич разделся и, пока Орехов сматывал со своей длинной тонкой шеи бесконечное кашне, легко взбежал по роскошной лестнице на широкую площадку, на ходу пожимая руку то одному, то другому, и, свернув направо, по широкому коридору, направился к своему отделению.

В отделении все уже были в сборе, и он стал обходить всех по очереди.

Штрицель, красивый блондин, атлетического сложения, близорукий как крот, сидел нагнувшись у стола и что-то писал, рискуя носом стереть все написанное.

— А! — широко улыбаясь, приветствовал он Федора Андреевича. — А я на злобу дня пишу. Послушайте!

Он взял листик и прочел, после каждой строчки с вызывающей улыбкой взглядывая на Федора

Андреевича:

Сколько б не было сумбура,
Поразмысли, мудрый бритт:
Ты отдуть желаешь бура,
Как бы не был сам отбрит!
Драть привык ты по две шкуры…

— А дальше, — заговорил он, откладывая листик, — рифма будет: буры. А? Каково? — И он засмеялся.

— Мило, — улыбаясь, сказал Федор Андреевич и быстро выпрямился.

Журавлиным шагом, не шевеля головою, в комнату вошел Чемоданов и степенно обошел всех служащих, подле каждого поднимая несгибающуюся руку. После этого он скрылся в своей комнате, и тотчас послышался его скрипучий голос:

— Яков Валентинович!

Старший помощник схватил бумаги и суетливо шмыгнул в комнату начальника.

Федор Андреевич отошел к своему столу. Штрицель снова приложил нос к листику бумаги и, видимо, задумался над строкой.

Сторож на огромном подносе внес стаканы, налитые чаем; в комнате все занялись завтраком. К Федору Андреевичу подошел Тигров, брюнет с

громадной, круглой как шар головою, на которой короткие жидкие волосы вились, как у барана. Широко улыбаясь, он сел у стола и, нагнувшись к Федору Андреевичу, заговорил:

— А я, знаете, вчера одну курсистку как срезал?

— Как?

— Я, знаете, показал ей аршина два от полу и спрашиваю: вы видели такого петуха? Она говорит: нет. Я, говорю, тоже не видел! Хохотали весь вечер!

Федор Андреевич улыбнулся.

— Да, знаете ли, — уже с серьезным видом сказал Тигров, — она больно развязна была. Невозможно! Надо было срезать! Ну я ее: чик!.. — И он, сделав соответствующий жест, опять засмеялся.

Чай отпили, закурив папиросу, Федор Андреевич вышел пройтись по коридору. К нему подошел Хрюмин, невысокого роста со сгорбленной фигурою и низко наклоненной головою, словно его ударили по шее. Разговаривая, он крутил ею и постоянно хихикал.

— Жалко, что ты от Штрицеля ушел вчера рано, — сказал он, — было весело!

— А что?

— Так. Он стихи забавные читал, потом Юма-

тов пел.

— Волком выл?

— Нет, пел. — И он захихикал.

— А ты долго сидел?

— Нет. Катька домой захотела. В десять ушли.

Катькой он звал свою жену, и это тоже очень нравилось Федору Андреевичу, как проявление добрых товарищеских отношений к жене.

Подле бухгалтерской они встретили Жохова, настоящего слона, старавшегося держать себя по-светски.

— Ах, братцы, — воскликнул он дружески, — какая вчера у графа Заметова игра была! — И при этом он оглянулся на проходивших мимо чиновников.

— В макао? — вертя головою, спросил Хрюмин.

— Ну, понятно! По двести рублей рвали!

— Ты-то что сделал?

— Шестьдесят пять выиграл! — И лицо Жохова осветилось самодовольной улыбкой.

«Славные ребята, — думал Федор Андреевич, возвращаясь к своему столу и садясь за работу. — Честнейшие души, открытые, добрые!..»

И, всеми довольный, он погрузился в составление какой-то бумаги.

Когда он окончил составление этой бумаги,

часы уже пробили пять и служащие, торопливо прощаясь друг с другом, вереницею потянулись по коридору к лестнице.

— Федор Андреевич! — раздался оклик Чемоданова.

Федор Андреевич быстро встал и прошел в комнату своего начальства.

Чемоданов движением головы указал ему на стул и заговорил скрипучим голосом:

— Я вас пригласил, чтобы порадовать. Вы давно у меня служите и остаетесь, собственно, без движения. Так вот…

Он побарабанил пальцами по столу и продолжал:

— От нас Якова Валентиновича берут. В финансовое отделение… так я решил ходатайствовать о вас. Думаю, что вы оправдаете мой выбор…

Федор Андреевич покраснел от удовольствия и торопливо ответил:

— Я никогда не манкировал службою, теперь же… поверьте… всегда… — он сбился и замолчал.

Чемоданов изобразил на своем лице нечто вроде улыбки и сказал:

— Ну и отлично! Только до поры до времени это секрет!

Он протянул руку Федору Андреевичу, и тот

вышел из его кабинета сияющий, как праздник.

В коридоре с ним сравнялся Жохов.

— Что это ты такой?

Федор Андреевич не удержался.

— Повезло сегодня, — сказал он радостно, — у нас, оказывается, Горлова переводят; так Чемоданов меня на его место!

— Тебя?! — вспыхнув, воскликнул Жохов, но тотчас сдержался и, дружественно хлопая его по плечу, сказал: — Отлично! Поздравляю! Куда же его переводят?

— В финансовое отделение!

— Это к Сербину? А! Чемоданов уже просил за тебя?

— Нет, собирается.

— А! Собирается. Ну, поздравляю, дружок, поздравляю! Ты не болтай только никому! — тихо прибавил он и подошел к вешалкам.

Федор Андреевич дружески кивнул ему и стал поспешно одеваться.

Был вторник, и он обедал у Чуксановых.

Проезжая мимо кондитерской, он остановился и купил коробку конфет.

Чуксановы жили на Петербургской стороне, в собственном, очень хорошеньком домике.

Все семейство состояло из отца, матери, дочери

и сына, и, понятно, для Федора Андреевича вся притягательная сила заключалась в дочери, хорошенькой Нине Степановне, которая два года, как окончила гимназию и ходила от нечего делать на музыкальные курсы.

Сам Чуксанов, Степан Африканович, служивший интендантом в славную турецкую войну, вышел в отставку после кампании и, приобретя недвижимость на Петербургской стороне, облекся в халат и поселился безвыездно в задней комнатке своего домика. Небольшого роста, круглый как шар, с крошечными, седыми баками на пухлом лице, он казался олицетворением добродушия, а между тем старожилы Петербургской стороны вспоминали былые годы, когда к нему вереницею шли убогие отставные чиновники и вдовы с пенсионными книжками и говорили, что ни отцы их, ни деды не знавали такого скареда и кровопийцы.

Его жена, Глафира Иларионовна, высокая и сухая как щепка, всегда в темном платье и крахмальном чепце, с лошадиною физиономией и нежным расслабленным голосом, казалось, весь остаток своей жизни посвятила посту и молитве; а между тем, соседи единодушно заявляли, что не было и не будет такой сплетницы, как эта Чук-

саниха, а прислуга при всяком случае заявляла в мелочной лавочке, что Господь Бог за грехи определил ее на такое каторжное место.

Зато дети их, сын Анатолий, студент-медик пятого курса, и двадцатилетняя Нина пользовались в околотке уважением.

Федор Андреевич репетировал Анатолия, когда тот был в шестом классе, и с той поры привязался к семье Чуксановых, главным образом к Нине, этой красивой девушке с энергичным взглядом карих глаз, с характером несколько резким, но, как казалось Федору Андреевичу, идеально прекрасным.

В этот день он, по обыкновению, провел прекрасно у них время. После обеда старики пошли отдохнуть, а он остался вдвоем с Ниной. Нина играла. Свет лампы, прикрытый абажуром, слабо освещал комнату. В комнате было тепло, уютно, и искусная игра Нины погружала ум в сладкую мечтательность. Федор Андреевич не сводил с нее глаз. Она сидела прямо, с устремленным вперед недвижным взглядом, и ее изящный профиль казался драгоценной камеей на темном фоне обоев.

Федор Андреевич слушал музыку, до него доносился мерный звук колоколов, призывавших

к вечерне, и сердце его переполнялось нежностью. Ему хотелось плакать и молиться, упасть перед Ниной на колена и целовать ее руки — но в комнату, шаркая туфлями, вошел Степан Африканович, и очарование сразу разрушилось.

Все же, когда, напившись у них чаю, Федор Андреевич направлялся домой, сердце его было полно мыслями о Нине.

IV

Придя домой, он переоделся, сел к столу и торопливо набросал:

Люблю тебя все жарче и сильней
За прелесть дум, навеянных тобою,
За чистоту молитв моих порою
Все за тебя в безмолвии ночей;
За те мечты, которые рождались
В моей душе под взором милых глаз,
За слезы те, что часто проливались
Все за тебя в вечерний тихий час…

Он перечел стихотворение и задумался. Перед ним, как живая, стояла Нина, и он любовался ею, стараясь проникнуть в ее душу. «Любит или

не любит»? — думал он про нее, и ему казалось, что любит.

С этими мыслями он лег в постель и загасил огонь.

В середине ночи он вдруг проснулся, чувствуя на себе чужой взгляд, и тотчас вспомнил прошлую ночь. Быстро повернувшись на другой бок, он увидел прямо перед собою, на том же стуле, что и вчера, того же старика. Он сидел так же неподвижно, положив бледные руки на колена и устремив перед собою тусклый взор.

Странная вещь! Федор Андреевич на этот раз не испытал решительно никакого страха и чувствовал себя совершенно спокойно, словно пришел к нему самый задушевный приятель и они сидят у стола за стаканом вина.

— Здравствуйте, — приветливо сказал Федор Андреевич. — Ну, сегодня вы, вероятно, расскажете мне свою историю?

Старик чуть заметно кивнул головой, и в комнате раздался тихий голос:

— O, ja! Эту ночь мы успеем. Вот. Слюшайте.

Федор Андреевич приподнялся, подбил себе под бок подушку и облокотился на руку, а старик медленным, ровным голосом, без малейшей интонации, начал свой удивительный рассказ,

довольно сбивчиво, но все-таки настолько ясно, что сущность его можно было усвоить.

— Это странный дель, — заговорил он, — и ви может не веряйть, но я буду доказывайть вам и дам такой талисман. Да! Ви может себе карьер делайть и будете для всякий особ ошень приятный господин. Да!

— В чем же дело? — перебил его Федор Андреевич.

— Дель? Большой дель! Я биль у мой дядя, Густава Пфейфер, в аптек, и я много ушился, а потом занимался тайной наукой, и у меня била книг. О, какой книг! Я ее шитал и звал Мефистофель, и он мог все делайть: элексир делайть, помад, красок. Все!.. И биль еще аптекарь. Карл Иваныч Шельм. О, настоящий Шельм! Да! И у дяди била Эмма, дочь, фрейлейн Эмма…

В комнате пронесся протяжный вздох.

— Вы любили ее? — спросил Федор Андреевич.

— О, ja! Я давал за нее душу и хотел жениться, и дядя даваль с ней аптек и говорил: «Я отдыхать буду!» Только, он говорил, что надо что-нибудь изобретайть такое… и я думаль, много думаль и говориль Шельм. Он говориль: «Я твой друг!» — и я верил! Я говорил ему про тайный наук, про свой книг, и он говориль: «Фридрих, мужайсь!» — и

я мужалсь. Да! Я доставал себе слюн сатаны. Да. И делал кри́сталь!

— Что? — изумился Федор Андреевич.

— Слюн от шорт. Мефистофель! — ровным голосом ответил старик. — Когда на земле бывайть ошень худой шеловек, канайль, и ему удивляйтся даже шорт, он плюет ему в глаза. Тьфу! И тогда тот делайтся gross канайль! Он видайть все души, как в зеркал, и делайть, чтобы бить приятным. Тот любит лесть, и канайль ему льстит; тот любит, чтобы всех ругайть, и канайль всех ругайть, и тогда нравится и идет. Выше, выше! Генерал! Такие есть. Много! Им шорт в глаза плевал. Тьфу…

— И вы?..

— Вот, — ответил старик, — я читаль свой книг и узналь, как можно удивить шорт, и он плевал. Я собирал и делал большой кри́сталь и потом хотел толочь в ступке и продавайть. И всякий, кто хочет быть канайль и делать карьер, покупайт и видит шеловека насквозь и делайть все, что нравится. Да!.. И я биль рад и бросился на шей Шельм и кричал: «Милый Карл, я достал слюн сатаны, шорт!» И он целоваль меня, и ми оба плакаль и пили пиво. И я утром хотел идти говорить дяде и брать за собой Эмму и сиял. И пришел Карл и кричаль: «Отдай кри́сталь!» — а я спрятал

кри́сталь. И он меня убиль и положиль в стен и замазаль. Да!

В комнате опять пронесся вздох.

— И вы в стене? — испуганно спросил Федор Андреевич.

— Ja! В стене! Шестнадцать лет! И все на ногах. Я в землю хочу, лечь! Он досталь мой книг и шитал ее и заговорил меня, а потом женился на Эмме, и теперь нет Пфейфер, а есть Шельм. Аптек Шельм!

— И он взял кристалл?

Что-то вроде смеха послышалось со стороны старика:

— О нет! Я догадалсь и заговариваль. Кри́сталь лежить, а Шельм его ищет. Он приходить каждый ночь и шарит везде.

— Приходит? Куда?

— Здесь! Он идет, потом — пфа! Делается таракан и ищет! Везде ищет! До полночи ищет, а потом — пфа! Снова Шельм и идет в аптек. Шестнадцать лет ищет! Ви мне теперь будьте помогайть, а я вам кри́сталь дам! Да! Ви будете карьер делайть!..

— Как же я могу помочь вам; я не знаю! — с чувством разочарования сказал Федор Андреевич.

— О, пустяк! Вовси пустяк! Легкий штук!

— Но как?

— Ви будете ловить…

— Я? Аптекаря?!

Федор Андреевич даже приподнялся в постели.

— Ну, ну! Только тогда, как он станет таракан. Пфа — и в коробочка!

Федор Андреевич кивнул.

— И потом что?

— Всё! Двенадцать часов, он не Шельм — и заговор нет! Я буду свободный! Кри́сталь у вас! Всё!

— Но ведь вы… убитый?.. Мертвец! — с недоумением произнес Федор Андреевич.

— Я? Нет. Дюша нет. Тело…

— А оно куда денется?

— Я уношу его и брошу…

И что-то вроде смеха послышалось в комнате.

За стеной раздался медлительный бой часов.

— Ловите таракан! Ловите! Кри́сталь ваш! — словно вздох пронеслось в воздухе, и опять вместо старичка образовалось бледное светящееся облако, которое медленно расплылось по комнате.

И едва он скрылся, как Федор Андреевич облегченно вздохнул, с недоумением обвел комнату взглядом, и все происшедшее показалось ему бредом.

Слюна сатаны, заклятие, два аптекаря, таракан,

душа, убирающая тело…

Положим, постоянно толкуют об участии в наших судьбах таинственных сил. Какой-то почтенный иеромонах выпустил в свет книгу, в которой до всеобщего сведения доводит все проделки чертей и обстоятельно описывает все образы, какие они принимают для уловления душ; некий Карышев, постепенно сняв все оболочки с души, обнажил ее совершенно и, шаг за шагом, проследил все ее странствования по иным планетам, описав подробно ее времяпровождение; но все-таки…

И Федор Андреевич заснул со скептической улыбкой на губах.

Но скептицизм его скоро кончился.

Из ночи в ночь старик не давал ему покоя, справляясь об успехе его ловли, и каждый раз просиживал на стуле до урочных трех часов, оглашая комнату протяжными вздохами.

Это становилось тяжело, и однажды Федор Андреевич твердо решился приняться за ловлю. Укрепил же его в этом решении главным образом Яков Фомич Чрезсмыслов, которого он часто встречал на четверговых вечерах у Ивана Антоновича Хрипуна.

Яков Фомич Чрезсмыслов был довольно да-

ровитый архитектор, но занимался не столько архитектурою, сколько спиритизмом. Он был знаком с Бутлеровым, Вагнером, Аксаковым, Прибытковым, находился в переписке с Круксом, Цёлльнером, присутствовал на сеансах с Хьюмом, Слэйдом, Евсапией Палладино, со всеми медиумами, включительно до Самбора и Яна Гузика[50], и верил всему, включительно до гомеопатии.

Невысокого роста, полный, с мясистым лицом, на котором росла редкая щетинистая борода, щеки которого отвисали почти до плеч, а маленькие серые глаза прятались под угрюмо нависшими бровями по сторонам красного, изрытого оспою носа, — он походил на того странного духа, вызванного лампою Алладина, которого можно видеть на картинке в детском издании «1001 ночи».

Федор Андреевич чувствовал к нему всегда невольное почтение и, в виду его близкого знакомства со всем таинственным, решился узнать

---

[50] Notes: 50

Химик Александр *Бутлеров* (1828–1886), зоолог и писатель Николай *Вагнер* (1829–1907), публицист и переводчик Александр *Аксаков* (1832–1903), морской офицер и редактор Виктор *Прибытков* (1840–1910), химик и физик Уильям *Крукс* (1832–1919) и астроном Фридрих *Цёлльнер* (1834–1882) увлекались спиритизмом. Дэниэл *Хьюм* (1833–1886), Генри *Слэйд* (1835–1905), *Евсапия Палладино* (1854–1918), Стефан *Самбор* (1829–1907) и *Ян Гузик* (1876–1928) были известными медиумами-спиритуалистами.

его мнение относительно всего происшедшего с ним.

Он улучил минуту, когда Чрезсмыслов, погруженный, быть может, в созерцание душ на планете Юпитер, одиноко сидел в углу хозяйского кабинета, и, подойдя к нему со своею открытой улыбкой, присел на соседнее кресло и заговорил с ним робким голосом ученика, жаждущего поучения от учителя.

— Простите, Яков Фомич; я, может быть, нарушил течение ваших мыслей, но мне хотелось бы узнать…

Яков Фомич медленно поднял лохматые брови, вяло взглянул на Федора Андреевича и глухо произнес:

— Сделайте одолжение, — после чего опять опустил брови и словно задремал.

— Скажите, пожалуйста, Яков Фомич, возможно ли, действительно появление человека в его земной оболочке спустя шестнадцать лет после его смерти в том же халате и туфлях? — спросил Федор Андреевич и даже слегка нагнулся к Чрезсмыслову в ожидании от него ответа.

— Вполне, — равнодушно ответил Яков Фомич. — К одной вдове являлся покойный муж в домашнем пиджаке. Она помнила, что у пиджака

не было двух пуговиц. И что же? Они оказались пришитыми!

Чрезсмыслов поднял брови, в глазах его мелькнуло вроде оживления, и он продолжал:

— К полковнику К. до сих пор является его боевой товарищ, поручик N., убитый под Ловчей. Сначала почти новый сюртук его теперь совершенно истрепался и висит лохмотьями. Одна дама, некая Б…

Чрезсмыслов друг за другом рассказал случаи явлений с того света, пока, наконец, Федор Андреевич не решился прервать его вопросом:

— Что их побуждает посещать живых?

Яков Фомич пожал плечами.

— Разные причины, — ответил он, — иногда обещанье, иногда тоска по любимым людям, но чаще что-нибудь невыполненное при жизни. Также бродят души непогребенных. Например, один нотариус, почтенный господин С…

Федор Андреевич вздрогнул и не расслышал рассказа, занятый своими мыслями.

Чрезсмыслова он считал авторитетом, и тот безошибочно указал на причину появления старика.

«Значит, есть что-нибудь», — мелькнуло в уме Федора Андреевича, а Чрезсмыслов продолжал

свои удивительные рассказы вплоть до того момента, пока Хрипун не пригласил их к ужину.

Федор Андреевич сел рядом с Чрезсмысловым и, когда подали десерт, передавая грушу Якову Фомичу, спросил его:

— Скажите, в тех случаях, когда эти привидения указывали на что-нибудь, передавали что-либо, бывали обманы с их стороны, мороченье?..

— Никогда! — резко ответил Чреземыслов. — Капитан корабля Ф. увидел однажды в рубке утонувшего три года назад повара. Он являлся три раза и потом сказал ему…

В это время Иван Антонович склонился между ними и налил им малаги.

Но Федору Андреевичу и не важно было окончание рассказа.

Решение его созрело.

V

Поймать таракана! Это не представляет никакой трудности, если тараканов за печкою и на полках в любой кухне несметные легионы, но поймать из них одного и именно того, который будет указан, — это уже задача.

А ко всему, если еще таракан этот обладает умом взрослого да изворотливого человека?

При этой мысли Федор Андреевич совершенно терялся.

Вернувшись от Хрипуна, он лег, думая о поимке таракана, когда над его ухом раздался голос старика: «Лови при выходе!»

Федор Андреевич быстро открыл глаза. За стеной пробило три часа.

Как не пришла самому ему эта простая мысль!

Ведь только один таракан уходит из квартиры в двенадцать часов ночи, чтобы за порогом двери обратиться в Карла Шельма и вернуться в свою аптеку!

И Федор Андреевич даже засмеялся от удовольствия.

Каждое впечатление можно было читать на его лице как в книге; и, когда он пришел на службу, Штрицель первый спросил его:

— Что это вы сияете так, словно в газетах написали о вас хвалебный фельетон!

— Лучше, — засмеялся Федор Андреевич, — но тсс!.. Это пока секрет!

Потом, встретясь в коридоре с Хрюминым, которого считал своим товарищем, он взял его под руку и, смеясь, сказал ему:

— Хотел бы ты, Ваня, получить в дар способность видеть человеческую душу?

Хрюмин хихикнул и махнул рукою:

— Нет, на что мне эта способность!

— Как? — удивился Федор Андреевич. — Ты, встретившись с человеком, сразу узнаешь, что он такое: добрый или злой, умный, глупый, жадный; все мысли его!

Хрюмин засмеялся и завертел головою.

— Чушь, чушь! — сказал он. — И какая мне польза в этом.

Но Федор Андреевич смотрел на это иначе.

— Ах, Ваня! А по-моему, это величайший дар. Ты будешь знать все, все… Что иной таит даже от себя, ты узнаешь: заботы, огорчения; то, что мучает иной раз душу человека, — все будет перед тобою, как в зеркале! Когда я получу эту способность…

Тут Хрюмин замахал руками, завертел головою и захихикал:

— Ну, зарапортовался, зарапортовался! Перестань!

Федор Андреевич спохватился и замолчал, но в это время к ним подошел Жохов и со снисходительной улыбкой спросил:

— Чему вы тут смеетесь?

Хрюмин, продолжая смеяться своим жиденьким смехом, махнул рукою:

— Да вот! Федя хвастает, что скоро получит дар видеть насквозь души своих знакомых.

Лицо Жохова вспыхнуло, и он завистливо и недоверчиво посмотрел на Федора Андреевича.

— Правда? Ну и везет тебе!

Федор Андреевич смутился.

— Я пошутил, — сказал он. — А ведь хорошо бы?

Жохов энергично кивнул.

— Еще как! Что бы сделать можно было, беда! — И он встряхнул головою.

— А что?

Жохов даже удивился.

— Что? Все! — ответил он и с горячностью заговорил: — Ведь тогда бы у меня всякий в руках был! У иного на душе пакостей всяких… я их все знаю. Иной только и думает о своей красоте… я знаю. Подхожу к директору, читаю в его душе и жарю, как по писаному, — все в точку! Каждое слово маслом по сердцу! А ты: что? Да все можно сделать!..

Мысли о таракане не давали Федору Андреевичу даже заниматься как следует. В голове то составлялся план поимки таракана, то мелькали мысли, как он с кристаллом придет к Чуксановым и узнает, любит ли его Нина.

По окончании службы к нему подошел Штрицель.

— Вы пойдете обедать к Пузану? — спросил он. — Сегодня его рождение. Я хотел вас попросить…

Федор Андреевич вздохнул:

— Не могу! Я сегодня занят, очень занят!

— У него сегодня свидание, — засмеялся Тигров, — от этого он так и сияет!

— Досадно, — сказал Штрицель, — я думал пойти с вами. Как вы находите: можно ему поздравление послать?

— Отчего же! Пошлите!..

По дороге Федора Андреевича нагнал Орехов и начал свою обыкновенную речь:

— Вот сегодня уже под наградные занял. Мясник душит — ему отдай. Дрова вышли. Ох, не женитесь! Каторга. Работник один, а ртов много. Всем подай! Заболеешь — нищета. Доктора говорят: отдохните. Ха-ха-ха! Отдохнем в могиле, так-то…

Он вздохнул так, словно это был его последний вздох, и начал снова:

— Всем говорю: не женитесь! Это хорошо богатым.

Федор Андреевич шел рядом с ним и не слышал его слов, занятый своими мыслями. Поравняв-

шись с воротами, на которых красовалась доска с надписью: «домашние обеды», он пожал руку Орехову и вошел в кухмистерскую.

В этот день ему было решительно все равно, где бы ни пообедать.

Потом он пошел к себе спать и, выспавшись, снова вышел из дому напиться чаю и приготовить все необходимое для ловли. План уже созрел в его голове.

Он купил кнопок и патоки.

Был уже девятый час, когда он возвращался домой, и вдруг на лестнице, на один марш выше, он увидел того же толстяка, которого видел в первый вечер своего новоселья.

В той же шубе со скверным меховым воротником, в том же котелке на огромной голове, также пыхтя и отдуваясь, этот господин медленно полз вверх по лестнице.

«Он!» — словно молнией сверкнуло в голове Федора Андреевича, и он замедлил шаги и затаил дыхание.

Как и тогда, в первый вечер, толстяк поднялся на третий этаж, и почти тотчас на лестнице воцарилась тишина: шаги смолкли, пыхтение пресеклось, и только вверху где-то тихо замяукала кошка.

«Он!» — уже с полной уверенностью сказал Федор Андреевич и, весело улыбаясь, вошел к себе.

Переодевшись, он зажег лампы и принялся за работу. Работа была пустая. Он брал листы бумаги, резал их полосами вершка в два и густо смазывал патокой.

Потом он пошел в переднюю. Здесь работы было больше. Он разложил полосы у самого порога на полу и прикрепил их кнопками; с помощью тех же кнопок укрепил такие же полосы по стенам около косяков и, наконец, по потолку, над дверью. Словом, окружил дверь со всех четырех сторон сплошным бордюром.

— Пусть перелезет, — усмехнулся он, старательно еще раз размазывая патоку.

Окончив все приготовления, Федор Андреевич ничего уже не мог делать. Он раскрывал книги любимых поэтов и громко начинал декламировать их стихи, но через минуту бросал их и хватался за перо, потом вставал, тревожно ходил по комнате и, наконец, упав на диван, замирал в ожидании, а через несколько мгновений снова бегал по комнате.

Хаос мыслей наполнял его голову. Невозможное казалось возможным, фантастическое становилось реальным. Он представлял себе, как

на его глазах Шельм из таракана обращается в толстого немца, и при этом думал: «Куда же он прячет пальто и шляпу?» Он представлял себе волшебный кристалл, так сказать, материализированную слюну сатаны, но тут его мысли останавливались…

Целый мир, новый, неизведанный, открывался перед ним! Что тайны моря заоблачных миров или неведомых стран? Перед ним, Федором Андреевичем, откроются тайны человеческих душ! И в его уме складывались поэмы, повести, романы…

Бегая по комнате, он подошел к столу, взглянул на лежащие на столе часы и вздрогнул: на часах было уже половина первого.

В первый момент у него подкосились от волнения ноги, но он быстро оправился, схватил свечку и выбежал в переднюю.

Громкий крик огласил комнаты, крик торжества. У притолоки направо, аршина полтора от пола, на полосе бумаги, тревожно двигая усами, сидел приставший к патоке таракан. Большой, черный, он беспокойно подымал голову, делал попытки двинуться, но тягучая патока удерживала его, и он только подымал свои длинные усы, словно протягивал с мольбою руки.

— Не уйдешь, приятель! — радостно проговорил Федор Андреевич, осторожно снимая полосу бумаги и неся ее в комнату. Там он положил ее на обеденный стол и прикрыл опрокинутым стаканом. Края стакана врезались в густую патоку, а он для верности еще нажал его ладонью.

— Ну, фон Шельм, обращайтесь в аптекаря! — громко сказал он, но таракан, ничего не ответив, по прежнему водил по воздуху поднятыми усами.

Федор Андреевич придвинул стул, сел и вперил нетерпеливый взгляд в стакан.

Все оставалось по-прежнему: превращения не совершалось.

Федор Андреевич почувствовал нечто вроде разочарования. Он уже приготовил ряд вопросов Шельму, но превращения никакого не происходило и таракан, видимо изнемогая, начинал мириться со своею участью.

Федор Андреевич со вздохом обругал себя дураком и пошел в спальню.

Но едва он лег и загасил свечу, как перед ним явился старик. На этот раз он не был мертвенно-неподвижен; напротив, он торопливо прошлепал туфлями, почти вбежал в комнату и, не садясь на стул, заговорил:

— О, благодарю! Кристаль ваш! Только еще одно!

— Что еще? — недовольно сказал Федор Андреевич. — Таракана поймал — самый обыкновенный, черный. Никакого Шельма нет, как и кристалла. Подурачили меня, и довольно! Идите!

— О! о! о! — застонал старик и завертелся на месте. — Тогда я пропаль! Время только до трех часов! Я не успей! О, сжалься, молодой шеловек! Пожалста!

— Что еще?

— Меня надо вынуть, открыйть! Я сам не могу, я отдам кри́сталь! Пожалста! — его голос звучал томительной мольбою.

Федор Андреевич спустил с постели ноги, всунул их в туфли и сказал:

— Что надо делать?

— О, благодарю вам! — радостно ответил старик. — Идите за мной, здесь, и вскрывайть стен. Раз, два! Скорее!

— Позвольте! Я не кошка, чтобы в темноте шарить, — уже раздраженно ответил Федор Андреевич, — я зажгу свечу!

— О, ja! — сказал старик, тряся головою, запахиваясь в халат и видимо волнуясь, — зажигайть!

Я буду вам указать! Пожалста!

Федор Андреевич чиркнул спичку и зажег свечу.

— Кой черт? — выругался он, изумленно оглядываясь. — Я брежу!

В комнате никого не было. Но в тот же миг словно порыв ветра подхватил Федора Андреевича, и он, схватив свечу, быстро встал и торопливо пошел через комнату, переднюю, по коридору, в кухню, поставил там на холодную плиту свечу и остановился опять в недоумении. Но это состояние продолжалось менее мгновения. Его взгляд упал на оставленный у плиты дворником топор; он быстро нагнулся, взял его, твердо подошел к стене и нетерпеливо, энергично стал выламывать из нее кирпичи.

«Бум, бум, бум», — глухо раздавались удары в ночной тишине, и потом с шумом сыпались на пол известка и щебень. Кирпич выпадал за кирпичом, известка сыпалась беспрерывным потоком, пот ручьями лился по лицу Федора Андреевича, а он упорно ломал стену, вывертывая кирпич за кирпичом.

И при колеблющемся пламени свечи, в одном белье, с покрасневшим от усилия лицом, осыпанный известью, он казался безумным, нанося

тяжкие удары топором в стену.

Вдруг, под влиянием непонятно мелькнувшей мысли, он отбросил топор в сторону и начал вынимать кирпичи руками. Перед ним открылась ниша, заслоненная широкой доскою. Он рванул доску; она с грохотом упала, и Федор Андреевич увидел старика. Он стоял недвижно, прислоненный к стене. Волосы зашевелились на голове Федора Андреевича; он сделал шаг вперед. Это был не старик, а высохший скелет, державшийся только на позвоночнике, одетый в истлевший халат и покрытые плесенью туфли. От легкого сотрясения скелет дрогнул, желтый череп качнулся, словно кланяясь; позвоночник изогнулся, и кости с сухим шелестом попадали друг на друга.

Федор Андреевич отпрянул в сторону, споткнулся, закричал диким голосом и повалился без чувств на пол.

VI

Он очнулся при сиянии солнечного ясного утра. Над ним, склонившись, стояли старший дворник и подручный Иван.

— Жив! — радостно закричал Иван, и Федор Андреевич, слабо улыбнувшись ему в ответ, сделал

попытку встать, но ломота во всех костях тотчас заставила его снова опуститься на пол.

— Угорели, видно! — участливо сказал старший дворник, коренастый мужик с черной бородою лопатою. — Ну да, слава богу, живы остались! Мы думали: помер барин. Иван-то прибег, бледный! Дверь, гыт, отпертая и барин забит лежит!

— А ен жив! — радостно воскликнул Иван и улыбнулся во весь рот.

— Вероятно, угорел, — слабым голосом ответил Федор Андреевич, — помогите мне, братцы, до постели добраться. А ты, Иван, приготовь мне чаю.

— С нашим удовольствием!

Дворники подхватили его и осторожно повели в спальную. Уходя, он невольно оглянулся на стену. Она была цела, на полу — кроме щепок — не было никакого мусора…

— Ну, вы! Чего налезли? Пошли прочь! — вдруг закричал старший дворник.

С лестницы в переднюю натолкался народ. В самой передней стояли кухарки с мешками для провизии и горничные с корзинками для булок; из-за них выглядывала рыжая голова девчонки; дальше, поднявшись на цыпочках, тянулся мальчишка из лавки с корзинкою на голове, а впереди всех какая-то облезлая собака жадно и старатель-

но слизывала патоку с полосок бумаги у порога.

— Я вас ужо! — пригрозил, проходя мимо, дворник и, оставив Федора Андреевича на попечении Ивана, бросился назад исполнять свою угрозу.

В передней раздались тотчас пронзительный визг лакомки-собаки, глухой ропот любопытных и все покрывающий голос дворника.

— Угорел, черти, говорят вам: угорел! Да ну тя, тетка, поворачивайся! Ах, штоб вас!

Потом голоса смолкли, и дверь с шумом захлопнулась. Иван осторожно, на цыпочках, прошел в кухню, а Федор Андреевич остался лежать с закрытыми глазами.

Что это было? Сон, кошмар, нервный припадок?.. Но он отчетливо помнит и удары, наносимые стене топором, и шум обваливающейся штукатурки и, наконец, страшный остов, на его глазах развалившийся.

А эта ломота в руках? Не есть ли она результат усталости? Он открыл глаза и, взглянув на свои руки, с недоумением качнул головою. На их ладонях ясно обозначались по два пузыря, несомненно натертых топорищем, а вся тыльная сторона правой руки была испещрена мелкими ссадинами от осколков.

Что-то было, но что?..

В это время Иван внес в спальную стакан чая и сахар. Стараясь ступать как можно осторожнее, он шел словно по канату, и стакан на блюдце от его напряженного внимания дрожал и прыгал с явною опасностью хлопнуться на пол. Но Иван преодолел все трудности, поставил стакан на придвинутый им стул и выпрямился со вздохом облегчения.

— Полегчало? — спросил он участливо, встретив взгляд Федора Андреевича.

— Да, совершенно, — ответил он, — я выпью и засну немного.

— Ну и слава богу. А я думал, помер! Ей-богу… — ухмыляясь во весь рот, сказал Иван и спросил: — Больше ничего не потребуется?

— Ничего. Можешь идти; я совсем здоров.

— Ну, и слава богу, — снова повторил Иван и, поклонившись, осторожно вышел из комнаты.

Федор Андреевич услышал, как стукнула дверь, и стал жадно пить крепкий чай, который, видимо, возвращал ему силы.

Потом он откинулся на подушку и задремал; легкая дремота обратилась в крепкий сон, и, когда Федор Андреевич проснулся, ясный зимний день клонился к вечеру, сумерки серой пеленою уже окутали все предметы, а дальние углы заво-

локли совершенною тьмою.

Федор Андреевич зажег свечу, поднялся и прошел в комнату.

«Таракан, — вдруг мелькнуло в его голове, — может, и это сон?»

Он быстро подошел к столу и нагнулся со свечою.

Нет, на столе лежала полоса бумаги, прикрытая стаканом, и под ним находился таракан, но уже без видимых признаков жизни. Он весь лежал в патоке, длинные усы его бессильно вытянулись.

Федор Андреевич брезгливо поморщился, но в эту минуту взор его скользнул по столу и глаза засверкали неподдельной радостью: в открытой коробочке из-под пилюль в розовой вате лежал ярко сверкающий кристалл желтоватого цвета величиною с хороший волоцкий орех.

Федор Андреевич жадно схватил его в руки.

— Спасибо, старик! Не надул, — проговорил он весело и стал рассматривать камень.

Он был бледно-желтого цвета, совершенно прозрачный, формы октаэдра. Бледный свет свечи преломлялся в его плоскостях и, дробясь, отражался синим, зеленым и желтым огоньками.

— Спасибо, спасибо, — бормотал Федор Андреевич, продолжая разглядывать странный

кристалл; но тут он почувствовал дрожь и вспомнил, что не одет.

Отложив кристалл, он тотчас начал одеваться, в то же время думая: «Однако как им пользоваться? В глаз такого не засунешь. Вероятно, надо носить в кармане, держать в руке… и что за бестолковый старик!»

Вернувшись из спальной, он снова протянул руку к коробочке и вдруг увидел под нею аккуратно сложенную бумажку.

Он осторожно развернул ее, жадно впился в нее глазами и тотчас с досадою бросил ее на стол.

— На смех, что ли! — проговорил он, взволнованно вставая со стула.

На клочке бумаги ровным мелким почерком, без малейшего промежутка, подряд были написаны буквы:

Положионыйвводуикапнитрикаплисолянойкислотысмотривводупятьминутиполучишьсилунадвенадцатьчасоврастолкионыйвпорошокипооднойпорошинкенаглаздадутвечнуюсилу.

Может быть, это одно слово?

Федор Андреевич снова сел к столу и взял в руки бумажку.

— Положионыйвводуикап… Не выговоришь!

Он встал, зажег лампу на письменном столе и пересел к нему, взяв в руки карандаш.

«Разделю на слоги», — мелькнуло у него в голове, и он стал карандашом отделять слоги.

Лицо его тотчас озарила улыбка торжества.

Господи, как это просто!

«По-ло-жи-о-ный-вво-ду-и-кап-ни-три-капли-со-ля-ной-кис-ло…ты; смотри в воду пять минут, — стал уже бойко читать Федор Андреевич, — и получишь силу на двенадцать часов. Растолки оный в порошок и по одной порошинке на глаз дадут вечную силу».

Федор Андреевич радостно засмеялся и, вскочив, крепко потер руки. Талисман у него в руках, сила в его власти!..

«Завтра же испробую», — решил он, с нежностью беря кристалл, но желание испытать его чудодейственную силу было настолько велико, что он тотчас переменил свое решение.

Сегодня же!

Но где?

Он взглянул на часы: было уже половина одиннадцатого. Добрых пять часов он провозился с кристаллом!

В ту же минуту он почувствовал страшный

голод, и это ощущение навело его на мысль пойти ужинать к Палкину[51]. Он весело засмеялся. Возможны встречи… да и так народу, как на ярмарке…

Федор Андреевич бережно взял кристалл, уложил его в коробочку и запер в ящик своего стола, потом чуть не бегом пустился в ближайшую аптеку.

Вернувшись с пузырьком соляной кислоты, он аккуратно накапал в стакан воды три капли, положил перед собою часы и, опустив в воду кристалл, устремил на него глаза.

Резкая боль заставила его на мгновение зажмуриться, но он снова мужественно открыл глаза и впился ими в кристалл. Кристалл горел всеми огнями; из него словно вылетали искры и острыми иглами подымались кверху; на поверхности воды образовывались крошечные пузырьки; они лопались, и тогда Федор Андреевич ощущал острую резь в глазах, словно от уколов. Потом все заволоклось как бы туманом, туман сменился нежным фосфорическим светом; затем вдруг выбросился сноп красного пламени.

Федору Андреевичу показалось, что он ослеп.

---

[51] Notes: 51

Имеется в виду знаменитый ресторан «Палкин» на Невском проспекте, названный по фамилии основателей.

Он откинулся и долго сидел, прикрыв рукою глаза, которые ныли от боли; но боль, наконец, прошла. Федор Андреевич взглянул на часы: прошло всего 10 минут, которые показались ему добрым часом, и он с радостным чувством сознания таинственной силы встал и начал тщательно одеваться.

Было половина двенадцатого, когда он вышел из дома и, сев в сани, приказал извозчику везти себя к Палкину.

VII

Съезд у Палкина уже начался. К подъезду то и дело подъезжали и простые извозчики, и лихачи, в подъезд входили военные и статские, старые и молодые, с дамами и без дам, и, когда Федор Андреевич вошел в ресторан, из залы неслись стройные звуки румынского оркестра.

По лестнице вверх и вниз шли мужчины и дамы: вверх — степенно, с сознанием возможности усладить себя за деньги; вниз — игриво, с закрасневшимися лицами, блестящими глазами и громкой речью, с сознанием весело проведенного времени.

На верхней площадке амур, стоящий голым в бассейне, с беспечной улыбкой держал в ру-

ках бутылку из-под шампанского, из которой с неумолчным журчанием бил фонтан; и тут же рядом, одетый с изяществом заправского франта, с манерами молодого чиновника особых поручений при губернаторе, завитой и напомаженный управляющий ресторана отвешивал самые изысканные поклоны всем входящим и выходящим гостям.

Федор Андреевич вошел в зал, в глубине которого виднелся зимний сад, и на мгновение остановился, ища глазами незанятый столик. Белый зал, украшенный зеркалами, сверкал огнями, лакеи суетливо бегали по залу, скользя и извиваясь между столиками, за которыми, уставленными бутылками и бокалами, приборами, соусниками, кофейниками, сидели мужчины и дамы с веселыми оживленными лицами; в воздухе раздавались возгласы, смех, иногда резкий звонок, призывающий лакея, и все это покрывали плавные звуки румынского оркестра. В белых штанах и расшитых фантастических куртках, они пилили, свистели, дудели, и впереди них со скрипкою стоял сам Матаки, черномазый брюнет с ослепительно-белыми зубами под огромными усищами.

Ресторанная атмосфера охватила Федора Ан-

дреевича, и он на время забыл о своем чудесном даре.

Отыскав свободный столик, он подозвал лакея, заказал принести водки с закуской, выбрал по карте блюдо и, откинувшись к спинке стула, стал оглядывать зал.

Он сидел у прохода. За его спиною, за большим столом сидела шумная компания молодых офицеров, слева от него какой-то старец сидел с молодой женщиной и что-то усиленно шептал ей, перегнувшись через стол, а она смеялась, грозила ему ножом от фрукт, и перья на ее громадной шляпе колыхались во все стороны.

Справа сидел господин купеческой складки и угрюмо пил шампанское, заедая его виноградом. Общее веселие, видимо, угнетало его.

А дальше какие-то евреи, похожие на маклеров, шумели за столом на всю залу, вероятно запивая выгодную сделку; сидел толстый и красивый господин с очень красивой дамой, а там еще дамы и мужчины всех возрастов и категорий.

Вот, шелестя шелковыми юбками, небрежно глядя по сторонам, прошла высокая, стройная красавица, а за нею с робкой улыбкой проследовал худосочный прыщавый юноша, одетый по последней моде; вот из зимнего сада развязной

походкой, с манерами гвардейских корнетов, прошли два студента.

Федор Андреевич вспомнил про свой дар и встрепенулся, но в эту минуту подошел лакей и подал заказанное.

Волчий аппетит проснулся в Федоре Андреевиче и заглушил на время всякие иные, кроме еды, помыслы…

Выпив несколько рюмок водки и плотно поев, он заказал себе кофе с ликером, закурил папиросу и решил воспользоваться своею силой. Но как?

Он рассеянно оглянулся, взгляд его встретился с унылым взглядом соседа купеческой складки, и вдруг в то же мгновенье в его ушах загудел ворчливый голос: «Ох, маята, маята, хоть бы пес какой подвернулся, душу отвести. Ишь ты, франты кругом, а разверта настоящего нету, чтобы треск! Вот бы сюда Фому Лукича захороводить да Прокла Степановича…»

В то же время Федору Андреевичу показалось, что он видит пьяные красные лица… Вино льется… хор нарумяненных девиц что-то поет, семеня ногами и подпрыгивая… Через их головы летит бутылка. Хрясть! И на пол сыплются осколки разбитого зеркала, певицы испуганно шарахаются в сторону, а пьяные люди с диким хохотом

их ловят…

Сосед отвел глаза, и Федор Андреевич словно очнулся. Лицо его озарилось улыбкою.

«Вот оно… чужая душа и чужие мысли! Однако это интересно, — подумал он, — и прав Жохов: составь я этому дикобразу компанию, страх обрадуется… Однако, — через мгновение подумал он, — и свинья же!..» — и он брезгливо оглянулся на своего соседа, но тот сидел, склонив голову, и угрюмо давил корявым пальцем на скатерти ягоду винограда.

Федор Андреевич оглянулся налево. Женщина в вычурной шляпе взглянула на него, и он тотчас услышал: «Тоска! Хоть бы денег дал, а то так только… мучает… противный, старый. А завтра за Мишу…»

Федор Андреевич увидел бедную комнату и в ней хорошенького мальчика лет двух. Эта самая женщина стоит перед ним на коленах и осыпает его страстными поцелуями. Подле них высокая женщина с сухим жестким лицом…

Женщина отвела глаза, и Федор Андреевич увидел, что она опять с кокетливой улыбкой грозит старику…

Он огляделся. «Пой, пой, подкуем на все четыре ноги!» — послышался музыкальный голос. На

него смотрел красивый, с наглым лицом еврей из компании напротив через проход.

Вот он отвернулся и с восторженной улыбкой аплодирует почтенному господину, сидящему в их компании.

«Подойти бы и предупредить», — мелькнуло в голове Федора Андреевича, и он опять обвел глазами зал. Шум поднялся в его ушах, в глазах запестрели картины. «Сто рублей пропьет, а пяти взаймы не даст!» — со злобой слышался один голос; «Голову бы разбил каналье, а ты льсти!» — слышался другой. «Уломаю или нет?» «Небось, напою до положения риз, все выложишь!» «Ругайся потом, мои деньги: хочу — пропью!» «И хороша, бестия!..» А в глазах мелькали картины…

Больная жена, рядом ребенок; лампадка слабо освещает комнату, и женщина вздрагивает и к чему-то тоскливо прислушивается…

Человек уныло шагает по улице, мороз крепчает, он зябко ежится в своем легком пальто…

На кушетке спит мужчина; другой, с армянским лицом, осторожно запускает руку в его карман.

— Федор Андреевич, а мы к вам! Разрешите! — вдруг услышал он подле себя голос, вздрогнул и очнулся.

Перед ним стоял пожилой брюнет с изрядною плешью, с тщательно расчесанными бакенбардами. Губы его улыбались, темные глаза нагло смотрели через стекла золотого пенсне, кругленькое брюшко лезло вперед, и на нем болталась цепочка с массой брелоков. Это был Гозе, Димитрий Карлович, знаменитый тем, что в год писал по четыре раздирательных пьесы на историческую или уголовную тему для театра-балагана Хрипуна, в котором состоял режиссером. Теперь в фельетонах дешевой газеты он писал пасквильный роман, выводя в нем своих знакомых с их послужными списками, и находился в апогее своей славы.

— «Красавец собою… умен… общее внимание… кхе… должен быть счастлив!» — услышал Федор Андреевич и увидел, как Гозе, поправляя на носу пенсне, самодовольно глядел на него. Федор Андреевич взглянул на его спутника. Он хихикал и потирал руки, склонив вперед свой неуклюжий стан. С короткой шеей, курносый, он походил в профиль на доброго йоркширского поросенка. Это был Воронов. Димитрий Авдеевич. Семинарист, бывший учитель, он считал себя крупным поэтом, а еще более крупным администратором с той поры, как попал в чиновники департамента

полиции. Федор Андреевич познакомился с ними обоими у Хрипуна, у которого, как у Палкина, можно было встретить людей всяких профессий.

— Хи-хи-хи! Не откажите, — говорил, кланяясь, Димитрий Авдеевич, — а то и местечка свободного нет.

— Сделайте милость! — радушно ответил Федор Андреевич, снова садясь на свое место.

Гозе откинулся на спинку стула и, задрав голову кверху, с важным видом стал отдавать приказания почтительно склонившемуся лакею. Воронов сидел, потирая руки и улыбаясь, в то же время искоса поглядывая на Федора Андреевича. Тот взглянул на него и услышал тихий голос: «Тоже стихи пишет… до моих далеко… и служит где-то… кажется, хорошо… буду внимателен… пригодиться всегда может…»

— Ну, будем есть и пить! — оживленно сказал Гозе, мановением руки отпустив лакея, и сейчас же устремил вспыхнувший взгляд на соседку.

— Невредная! — сказал он, осклабляясь, и Воронов принял тотчас серьезный вид, так как был женат и любил говорить о святости семейного очага, и забасил:

— Нет, ты скажи нам, кого ты теперь станешь изображать в своем романе? Великолепная вещь!

Стильная, живая! Вы читали? — обратился он к Федору Андреевичу.

«Ему-то это маслом, дураку, по сердцу», — послышалось Федору Андреевичу.

— Нет, — ответил он.

— Гм! ха-ха-ха! — засмеялся Гозе, — так нравится? — спросил он самодовольно. — А вам я книжку дам, когда весь кончится!

Федор Андреевич кивнул головою, а Воронов, поправляя на носу очки, убежденно сказал:

— Лучшая вещь!

Лакей принес водку, рюмки и стал устанавливать закуски.

— Отлично! — весело сказал Гозе. — Выпьем и закусим! Вам угодно?

— Благодарю. Я уже поужинал!

Они жадно принялись за еду, а Федор Андреевич, перебрасываясь с ними легкими фразами, старался уловить их взгляды. Гозе поминутно вскидывал на него свои глаза, и Федор Андреевич слышал только самодовольные мысли о самом себе, о своей красоте, о своей славе, о своем даровании, о зависти и восторге окружающих. И — ничего больше!

Взгляд Воронова поймать было труднее: он избегал смотреть прямо, а если и взглядывал, то

всегда при этом поправлял на носу очки. И Федор Андреевич мельком ловил его мысли. Он думал, как бы не попасть в роман Гозе, и измышлял способ запугать его. Думал о своем политическом значении, потом с трусливой беспокойностью о жене, от которой влетит, если она узнает, что он ужинал у Палкина. «Знает ли он, что жена моя генеральша?» — услышал вдруг Федор Андреевич вопрос и уже хотел ответить «не знаю», но вовремя одумался.

Ему становилось не по себе. Все, что он успел подсмотреть и подслушать в человеческих душах, было так ограниченно, пошло, бесцветно…

«Неужели интересы всех этих людей, — подумал он, оглядываясь, — так ничтожны и пусты? Впрочем, это ресторан». И он успокоился, но чувство недовольства не оставляло его.

А Гозе, поев и выпив и тоже спросив ликер и кофе, закурил сигару и, выпячивая грудь, с циничной откровенностью стал рассказывать, как он живет с тремя семьями. Воронов хихикал и кивал головою, а Федор Андреевич, ловя его взгляды, читал, как искренно он завидует Гозе, как злится на его хвастовство и как хочет затмить его своим превосходством, но в то же время боится его и снова хихикает. Вдруг почти над самым

ухом Федора Андреевича раздался его возглас: «Господи, его превосходительство!» — и в то же мгновенье Воронов встал, согнул надвое свое неуклюжее туловище и, сделав три крадущихся шага, с заискивающей улыбкой подошел к проходившему мимо седенькому старичку, косому на один глаз. Тот торопливо кивнул ему и прошел мимо. Воронов вернулся, на лице его была разлита сладость. Он взглянул на Федора Андреевича и сказал с некоторой торжественностью:

— Его превосходительство, сам начальник, Щеглов! — И Федор Андреевич одновременно услышал: «Отнесся ласково, хи-хи-хи! Ну, чья взяла?»

Гозе был видимо смущен. Он издали почтительно поклонился старичку, но тот его не заметил.

Федору Андреевичу стало противно. Он встал, да уже было и время: румыны ушли, большая люстра погасла.

— Куда вы? — сказал Гозе. — Посидели бы! Потом к разъезду в клуб пройдем. Самый разгар.

— Поздно! — ответил Федор Андреевич и, расплатившись, пошел из зала.

Управляющий отвесил ему поклон. Их взгляды встретились.

«Верно, тоже из почетных. Надо запомнить», —

услышал Федор Андреевич и весь вспыхнул.

— А для чего вы их запоминаете? — вслух спросил он.

Управляющий вытаращил глаза и откачнулся. Федор Андреевич усмехнулся и быстро пошел с лестницы.

Погода была мягкая, падал легкий снег, и он решил пройти пешком. На душе его было скверно. Действительно, только сатана мог наградить таким пакостным даром! Этот Гозе? Знал он его за славного, неглупого парня, к его романам (очень часто заимствованным) относился так же легко, как и он, но никогда бы не подумал, что он до такой степени пошл, пуст, бессодержателен! Как, должно быть, он бывает зол, когда заденут его куриное тщеславие!.. А этот Воронов?! Да ведь он все время считал его за умного, свободного человека и вдруг… такая мразь! Тьфу!

VIII

Когда он встал на другое утро, впечатления вечера не изгладились еще из его памяти и он чувствовал себя не в духе.

«Возобновить способность или нет?» — думал он и то косился на ящик письменного стола, то с досадою от него отворачивался. Куда идти

сегодня? Да! Сегодня он обедает у Чуксановых и вечер проводит у Хрипуна. У него сегодня чье-то рождение и что-то вроде бала.

«Возобновлю!» — решил он и с этой мыслью уселся к столу, на который Иван поставил уже кипящий самовар, и взял в руки газету. Взгляд его случайно упал на последнюю страницу, и он вдруг побледнел, и на лбу его выступил холодный пот. В черной рамке первым в ряду объявлений об умерших он прочел:

> *Вдова и дети с глубоким прискорбием извещают родных и друзей о внезапной кончине Карла Ивановича Шельма, последовавшей в ночь с 6 на 7 января от удушья.*

«Убийца! — чуть не вскрикнул Федор Андреевич, отбрасывая газету, и, в волнении вскочив со стула, стал ходить по комнате. — Накрыл стаканом, когда знал, что там человек! Раз вздохнул — и готово!..»

«Но я же до последней минуты был убежден, что это таракан! — возразил он тотчас же. — Какой? до этого мгновенья!»

О, проклятый дар! Он, он, Федор Андреевич, мог убить человека? Ха-ха-ха!

Он остановился посреди комнаты и сжал голову руками.

«Одни сутки — и сколько ужасов!..»

Он бессильно опустился на стул и рассеянно взглянул на газету, взглянул и опять вздрогнул. Тут же, на последней странице, в отделе «Хроника» он прочел:

> *Загадочный случай. Сегодня утром на набережной Обводного канала, у Забалканского моста, был усмотрен закоченевший труп старика, одетого в ветхий халат и туфли. Тут же случившаяся старуха, Анисья Козырева, прачка по ремеслу, признала в нем одного из своих давнишних клиентов, некоего Фридриха Густавовича Пфейфер, который лет 16 тому назад бесследно исчез из своей квартиры. Полиция деятельно принялась за расследование этого странного происшествия. Полуразложившийся труп предали погребению.*

Федор Андреевич сидел как подавленный, без движения, без мыслей. Чай давно простыл в его стакане. Самовар шумел, пыхтел, потом жалобно пискнул и начал медленно остывать, а он недвижно сидел, и только прерывистое дыханье

свидетельствовало об его волнении.

Наконец он встал, глубоко вздохнул и провел рукою по лицу.

Если все так случилось, значит, так было суждено. Все происшедшее столь невероятно, что, очевидно, добрая или злая его воля не могли ни на волос изменить событий.

Эта мысль несколько успокоила его, и он стал неторопливо собираться из дома: сперва на службу, потом обедать к Чуксановым (при этом его сердце сжалось), а вечером к Хрипуну. Федор Андреевич покачал головою: «Какая рассеянная жизнь! Сколько драгоценного времени, потраченного даром! Вечер за вечером!» И он тоскливо оглянулся на свой письменный стол, на котором лежали листки начатой поэмы. Но когда он взглянул на стол, взгляд его упал на ящик с торчащим в замке ключом, и он вспомнил про кристалл.

«Воспользуюсь!» — решил он еще раз, взял стакан, кислоту и приготовил воду.

Полчаса спустя он вышел из дому и медленно направился к министерству, изредка взглядывая на прохожих.

И опять в душе его проснулось недовольство, и он стал жалеть, что воспользовался проклятым даром.

По всему пути, от дома до министерства, он не встретил ни одной «души», то есть ни одного человека с чистой радостью, с искренней тоской, с мыслью о ближнем. Самые пустые интересы волновали всех встречавшихся с ним, и на первом месте стояла корысть и какая-то беспощадная ненависть ко всем другим. Встретился студент с ясным, улыбающимся лицом, и оказалось, что он думал о ловкой проделке: он только что послал отцу жалостливое письмо о своей нужде и, уверенный, что отец ему вышлет деньги, рассчитывал, успеет ли он получить их к вечеру у каких-то Сомовых, где будет игра.

И Федору Андреевичу вдруг привиделся земский врач на пункте, у него пятеро детей, живут они в избе, и вот в крошечной комнатке врач грустно читает и перечитывает письмо сына, этого беспечного юноши…

Встретилась красивая женщина с веселым лицом, которая думала: «Наконец-то я заставила Пьера взять взятку! Он говорит: тяжело. Ничего, привыкнет! Все берут! Теперь я этим Бегишевым покажу…»

Прошел с серьезным, нахмуренным лицом пожилой господин, у которого была одна мысль, похож ли он на действительного статского со-

ветника.

Промелькнул озлобленный человек, мысленно назвавший Федора Андреевича скотом за его шинель и цилиндр.

И только последняя встреча рассмешила его. Навстречу шел господин с красивыми баками, в котиковой шапке и меховом пальто. Он выступал как-то особенно важно, куря сигару на морозном воздухе и поднимая кверху нос с золотым пенсне. Федор Андреевич встретился с ним глазами, увидел самодовольное лицо и тотчас услыхал: «А ну-с, Аграфена Петровна, угадайте-с: барин пришел к вам али евонный лакей. Наше вам-с! Силь ву пле!»[52]

Федор Андреевич невольно рассмеялся и с улыбкой вошел в подъезд министерства.

«У него сорву рублей пятнадцать, да у Хрюмина. Жене рублей пять отдам, а на остальные и кутнем!»

Федор Андреевич оглянулся и, к своему удивлению, увидел подходившего к нему Орехова. Он вздыхал и имел подавленный вид.

И в то же мгновение Федор Андреевич увидел бледную, исхудалую женщину. Вот она роется у

---

[52] Notes: 52
Фр. S'il vous plaît! — Пожалуйста!

себя в комоде, достает связку белья и суетливо одевается в драповую ротонду[53], пряча под нею остатки имущества. Вот она торопливо идет по улице и останавливается у подъезда с крупною надписью: «Ломбард»…

Федор Андреевич сухо поздоровался с Ореховым и отвернулся, едва тот разинул рот. Несмотря на него, он торопливо разделся и устремился вверх по лестнице. На площадке с ним поздоровался Жохов. «Сегодня узнать должен, — мелькало у него в голове, — догадается или нет? А впрочем, где ему, дураку, догадаться!»

— Дружище! — сказал он громко. — Ну, как живешь, что пишешь? Я недавно читал твои стишки!

Этими словами он всегда начинал свои беседы с Федором Андреевичем, но на этот раз, в предчувствии какой-то неприятности, Федор Андреевич ограничился только сухой улыбкой и пошел в свое отделение.

Ему опять сделалось тоскливо. Вот только вошел в министерство и уже двоих осудил.

Этот Орехов, которого он так всегда жалел, оказывается далеко не несчастным; несчастна

[53] Notes: 53

Ротонда — женская верхняя надежда в виде утепленной длинной накидки без рукавов.

его жена…

Этот Жохов, его приятель, что-то замышляет против него.

— А, Федор Андреевич! — у самых дверей приветствовал его Штрицель. — Что с вами вчера было? Отчего на службе не были?

— Нездоровилось, — ответил Федор Андреевич, смотря ему в близорукие глаза.

«Читал или нет?» — услышал он тревожную мысль Штрицеля.

— Читали вчера газету? — спросил он Федора Андреевича.

— Нет, а что?

Лицо Штрицеля просияло: «Убедится теперь, что я писатель!»

— Так. Отзыв о моей книжке, — ответил он небрежно, — я могу прочесть вам. Вот!

И, вынув из кармана сложенную газету, он прочел крошечную заметку об его крошечной книжке стихов. Лицо его сияло. Когда, прерывая чтение, Штрицель взглядывал на Федора Андреевича, он читал его самодовольные мысли: «Завидно, пожалуй… а? Полмильона прочли, что есть писатель Штрицель!.. ишь, улыбается, а у самого кошки скребут!..»

— Завтра схожу в книжный магазин. Вероятно,

продажа двинулась, — сказал он, окончив чтение и свертывая газету.

— Я очень рад вашему успеху, — искренно сказал он Штрицелю и вошел в комнату.

Сослуживцы дружески с ним поздоровались. Федор Андреевич взглянул на одного, на другого, на всех по очереди, начиная от старшего помощника делопроизводителя, кончая причисленным канцелярским служителем, и у всех прочел какие-то тревожные, отрывочные мысли: «Что-то будет… как повернет… пожалуй и кубарем… нет, он меня отличал».

И только один Штрицель был весь погружен в самодовольные мысли о своем литературном дебюте.

— Что-то случилось, чего я не знаю? — сказал Федор Андреевич Тигрову. Тот выпучил на него глаза с неподдельным изумлением, и Федор Андреевич прочел: «Считал я тебя всегда дураком, но не таким!»

«Это он-то? Меня!» — вспыхнув, подумал Федор Андреевич, а Тигров продолжал:

— Не знаете? У нас директора сменили! Назначен Гавриловский, — и, понизив голос, шепнул многозначительно: — в высших сферах интриги! У меня знакомый, знаете (он назвал фамилию

одного из министров), так я от него слыхал: в высших сферах интриги! — И он с важным видом выпятил вперед накрахмаленную сорочку. «Понял! — самодовольно подумал он, — небось, тебе к таким людям и на порог не ступить!»

Федор Андреевич опять вспыхнул и мысленно обругал Тигрова.

В этот день для него, как нарочно, открылось назидательное зрелище. По-видимому, все сидели покойно, углубленные в свои бумаги или мирно беседующие, но стоило им вскинуть глаза на Федора Андреевича, и тот читал их тревожные, мелочные мысли: кого куда переместит новый директор, кого отличит, кого затрет, кого приведет с собою.

Ему становилось противно, словно он сидел в лакейской, и он собрался уже выйти в коридор, когда его позвал к себе в кабинет Чемоданов. Он, не сгибая локтя, подал руку Федору Андреевичу и, пригласив его сесть, скрипучим голосом сказал:

— Я разочарую вас, Федор Андреевич. На вакантное место его превосходительство изволил лично назначить Жохова, и я не мог даже замолвить слова.

«Не стану же я из-за этого франта себе карьеры портить. У того протекции, а этот...» — услышал

Федор Андреевич его мысли и торопливо встал.

— Я не так огорчен, Василий Семенович, этим. Я, слава богу, один, и на мой век хватит и теперешнего! — сказал он.

«Врет, но молодец! — подумал Чемоданов. — Напрасно я в угоду Гавриловскому выругал его. Постараюсь загладить. С выдержкой человек!»

— И прекрасно, — проскрипел он, стараясь сделать веселое лицо, — я о вас позабочусь. Еще поработаем вместе!

Федор Андреевич вышел от него со скверным чувством сознания человеческой подлости. Чемоданов ему казался всегда благородным человеком, и он не думал, что в душе он настолько лакей; Жохов был ему товарищем, и он не ожидал, чтобы тот даже не предупредил его, что перешел ему дорогу. Когда же он проходил через комнату, в мыслях всех своих сослуживцев он прочел какое-то необъяснимое злорадство.

— А, брат Федюха! — приветствовал его Хрюмин, вертя головою. — Что, отшили? Хи-хи-хи!

— Мне-то на это плюнуть, — ответил искренно Федор Андреевич, — но для чего передо мной Жохов ломался? Поздравлял тогда?

— Хи-хи-хи, — завертел головою Хрюмин, — просто скотина он!

Федор Андреевич взглянул на него и вдруг услышал его мысли: «Авось теперь иначе про него подумает да выругает его. А я Жохову скажу. Он в гору идет!»

Федор Андреевич даже вздрогнул. «О, мерзость!» — хотел он воскликнуть, но Хрюмин в это время, вертя головою, говорил и хихикал:

— Он, каналья, про тебя здесь такие слухи распускает, беда! Что и пьяница ты, и игрок…

— Все вы на одну колодку, — вспыхнув, произнес Федор Андреевич и почти бегом направился к лестнице, не досидев до урочного часа.

Он ехал, закутавшись в шинель, стараясь ни с кем не встречаться взглядами, и душа его кипела от пережитых впечатлений.

Сколько мелочности, грязи и подлости представляют души тех, кого он любил и кому он верил. Полоумный Штрицель со своей манией пролезть в писатели оказывается лучшим из всех. Даже дурак Тигров, которого он всегда отстаивал, считает его дураком. И правда дурак! Дурак за эту смешную веру в людей и их добродетели! А впрочем… — И мысли его перенеслись в маленький домик на Петербургской стороне, куда теперь он ехал, чтобы отдохнуть.

Вот и Кривая улица, вот и решетка, отгоражи-

вающая палисадник. Федор Андреевич быстро вышел из саней, расплатился с извозчиком прошел между двумя сугробами снега и позвонил у крылечка.

За дверью послышались шаркающие шаги, щелкнул ключ, стукнул крючок, загремела цепь, и Федор Андреевич увидел самого Чумазова, запахивающегося в халат.

— Степан Африканович, зачем это вы без… — начал Федор Андреевич и смолк на полуслове.

«Ишь, словно ворон на падаль! Не пришибись, парень!» — раздалось в его ушах, едва он взглянул в маленькие глазки Чумазова.

— Ничего, ничего, пожалуйте! — тихо говорил тем временем Чумазов, стараясь казаться радушным.

— Нина, Федор Андреевич! — крикнул он и, запахнувшись в халат, пошел из передней, сказав: — Дверь-то хорошенько заприте!

Федор Андреевич несколько мгновений стоял в нерешимости, думая: не уйти ли, раз он узнал мысли хозяина, но потом, усмехнувшись, встряхнул плечами и быстро разделся.

Не к нему ведь идет он! И та же Нина отлично знает, что ему нет дела до их капиталов.

Он вошел в гостиную в одно время с Ниною,

и они дружески встретились на середине комнаты.

«Чем-то недоволен. Опять какая-нибудь сентиментальная чушь», — услышал он, взглянув в ее глаза, а следом раздался ее голос:

— Ну, здравствуйте! Что это вы сегодня каким букою? Огорчены чем-нибудь?

Он улыбнулся. Что же, в ее мыслях было участие к нему, хотя в несколько странной форме, — и он ответил:

— Ничего, кроме того, что я упустил повышение по службе и потерял двух приятелей!

— Умерли?

— Нет, я в них разочаровался.

«Так я и думала! Прав Толя: совершенная размазня!»

Федор Андреевич покраснел.

— Ну, это еще небольшая потеря, — весело сказала Нина, — вы знаете: Господи, избави меня от друзей!.. А вот повышение… Скажите, что это было за повышение?

Федору Андреевичу больно было слушать ее слова. В ее розовых губках они казались ему циничны. Раньше они казались ему забавны, и он всегда думал, что она говорит такие слова нарочно, чтобы вызвать его на горячий спор.

Он коротко рассказал ей и про обещание Чемоданова, и про перемену директора, и про поведение Жохова — и все время пристально глядел ей в глаза, читая ее мысли, от которых ему становилось все больней и больней.

«Дурак, прямо дурак, — слышался ему ее насмешливый голос, — ну что я с ним буду делать? Мама говорит: „переделаешь!“ Да он всегда таким останется. Рохля какой-то. Ему бы только стишки писать да восторгаться. У-у! Вот размазня-то!»

— Ну что же, — сказала она ласково, когда он смолк. — Чемоданов все-таки отличил вас. Времени впереди много!

— Я и не огорчен этим, — ответил он, — мне больно было разочароваться в людях, — и в его голосе послышалась тоска.

«С чего это он?» — встрепенулась Нина и ласково улыбнулась ему.

— У вас еще есть друзья и люди, которые вас любят! — При этом она взглянула на него быстрым лучистым взглядом, и он расслышал: «От этого взгляда сейчас вспыхнет и раскиснет! Знаю!»

Он действительно вспыхнул, но не раскис.

В эту минуту в комнату вошла Глафира Иларионовна.

— А! Федор Андреевич! — воскликнула она

радостно. — Голубчик мой! Ну, идемте обедать. Толя уже пришел!

Федор Андреевич ласково поцеловал ее руку и поднял голову. Глаза их встретились.

«Что это она ему такого сказала? — услыхал он тревожный голос. — Ишь раскис весь! Дура! Говорю: до свадьбы по шерсти гладь. Наверстать успеешь. Дура!» — И она перевела сердитый взгляд на дочь. Федор Андреевич подметил, как она в ответ матери пожала плечами. Холодный пот выступил у него на лбу.

— Идите, идите! — весело говорила Глафира Иларионовна. — Нина, веди его!

В столовой ему навстречу поднялся Анатолий и дружески встряхнул ему руку.

— Каковы буры! — сказал он, но Федор Андреевич успел услыхать: «Ну, сегодня Селиванов совсем растаял. Значит, при Академии остаюсь. Обошел Яшеньку!»

Федор Андреевич ничего не ответил, и Анатолий даже не обратил на это внимания.

Мысли его были заняты какими-то стратегическими соображениями: кого-то смазать, кого-то ульстить, кого-то обойти, куда-то втереться и, наконец, чего-то добиться.

Сам Чумазов с угрюмым видом глядел себе в

тарелку, и Федор Андреевич не мог уловить его взгляда, а Чумазова, взглядывая на Федора Андреевича, казалось, громко ему кричала: «Господи, и когда эта канитель вся кончится. Ходит, ходит и все не осмелится. Дурак какой-то! Мой на что хухря, а как тогда храбро! Ну, да и я… — Она приветливо улыбнулась Федору Андреевичу, а тот продолжал слышать: — Непременно надо Нину настроить. Пусть вызовет его. Взгляни, пожми руку — он и раскис. Ведь сама говорила, что не упустит!»

А Нина все время занимала его.

Она рассказала ему про свои сегодняшние занятия, описала ссору двух подруг, сказала, что в книжках «Недели» читала его стихи и так увлекалась ими, что будет просить одного музыканта написать музыку.

— Какие же вам больше понравились? — спросил Федор Андреевич, взглядывая на Нину. «Вот еще! — услыхал он, — и вправду вообразил, что я читала его дребедень! Довольно того, что сам читает! Какие же? Ах да!»

— Лес, — ответила она, — помните: «Лес стоит угрюм и мрачен; не видать тропы знакомой…»

Федор Андреевич молча кивнул головою и покраснел, увидев насмешливый взгляд Анатолия.

«Тешутся», — услыхал он, а Нина говорила брату:

— Сегодня Федор Андреевич не в духе. Он разочаровался в своих друзьях.

— Не надо было ими очаровываться, — сухо сказал Анатолий и встал из-за стола.

Федор Андреевич поднялся тоже и торопливо стал откланиваться. На лицах матери и дочери отразилась неподдельная тревога.

— Куда вы? — воскликнули они в один голос.

— Я вам сыграю новую пьесу.

— А кофе!?

Но он настойчиво отклонил и кофе, и музыку.

— Я на вас буду целую неделю дуться, — сказала Нина.

— Не выдержит! — сладким голосом произнесла Глафира Илариoновна и лукаво взглянула на Федора Андреевича. «Что это словно он взбесился? Никогда таким не бывал!»

— Послезавтра у нас пельмени. Для вас делаю! — сказала она.

Он выбежал от них, словно у него горели подошвы, и, пройдя с добрую версту с шинелью нараспашку, едва пришел в себя от всего пережитого.

Вот кого он любил и кем восхищался!

Проклятый дар!..

Он шел по улице и восстановлял весь день во всех подробностях. Уж не поехать ли домой и залечь спать? Но, собственно, все горькое для него уже кончилось; всего остального он может быть только зрителем. И с этою мыслью он направился домой, чтобы переодеться и поехать к Хрипуну.

IX

Иван Антонович Хрипун был дельцом последней формации. Из дворянской фамилии, умный и энергичный, со своеобразной этикой, по которой люди служили ему только средствами для достижения целей, он в короткое время из помещика среднего достатка обратился в богача, — впрочем, богача по оборотам. Никто не знал его наличных средств, и весьма возможно — умри он внезапно, его семья осталась бы без всяких средств, но теперь у него был мильонный доходный дом на Литейном проспекте, свечной завод, кузница, в одном из имений паровая мельница и, наконец, народный театр, которым он очень гордился и который давал ему немалый доход. Собственно, это был просто балаган, в котором разыгрывались специально заказанные Хрипуном пьесы, где время от времени фигурировал белый генерал, чисто русский боярин и всегда вышучивались

евреи, поляки изображались крамольниками, а немцы, армяне и финны — исконными врагами русских, — но Хрипун с гордостью заявлял, что он со своим театром является одним из устоев «русских начал», и часто, сидя в своем балагане на галерке, вместе с полупьяной публикой гоготал от восторга, когда актеры на сцене лупили еврея в длиннополом кафтане.

В то же время, прикрываясь своим патриотизмом, он отлично обрабатывал полуголодных актеров, держа их на грошовом жалованье.

Вообще Хрипун был деловой человек.

Солидные дельцы при его имени поднимали брови и покачивали головами, но всякий из них принимал его бланк, и общество охотно посещало его богатые рауты.

Добродушный Федор Андреевич, случайно познакомившись с Хрипуном, был поражен его разносторонней деятельностью и искренно увлекался им, слепо веря всему, что говорил о себе Хрипун.

Когда Федор Андреевич подошел к подъезду дома Хрипуна, у панели уже стояло несколько экипажей, окна бельэтажа ярко светились, и в большой передней два швейцара суетливо помогали раздеваться гостям.

Федор Андреевич сбросил шинель на руки одному из швейцаров и пошел по ярко освещенной лестнице. В небольшой передней, украшенной зеркалами в позолоченных рамах. Хрипун принимал гостей. Невысокого роста, коренастый и плотный, с умным грубоватым лицом, изрезанным мелкими морщинками, с рассеянным взглядом занятого своими мыслями человека, Хрипун улыбался при входе нового лица, шаркал ногой, пожимал ему руку и говорил:

— Милости просим!

Потом выпрямлялся и проделывал то же со следующим.

Федор Андреевич поздоровался с ним, но не смог уловить его взгляда и прошел в комнаты. У порога маленькой гостиной стояла хозяйка, с милым, ласковым лицом, и приветливо здоровалась с каждым. Увидев Федора Андреевича, она улыбнулась ему как старому знакомому и протянула ему руку, он успел встретиться с нею глазами. «Господи, какая скука, — услыхал он ее мысли, — и как Иван не поймет, что все это смешно и не нужно».

В комнатах уже толпились гости, в кабинете хозяина и наверху, в конторе, за ломберными столами играли в карты, в зале танцевала моло-

дежь, а лакеи, неслышно скользя между гостями, разносили чай, пунш, крюшоны и конфеты.

Федор Андреевич стал бродить по комнатам, изредка здороваясь со знакомыми, и с жадным любопытством засматривал всем в глаза. В комнатах толкались и мелкие писатели, поставщики пьес для балагана Хрипуна, и артисты, отличенные Хрипуном, и купцы, и два-три генерала, несколько чинов полиции и затем товарищи Хрипуна по думе, между которыми были и доктора, и адвокаты.

— Федор Андреевич! — раздался подле него оклик. Он повернул голову и поздоровался с Гозе. Тот сиял. Фрак свободно лежал на его короткой толстой фигуре, баки небрежно были откинуты, на поднятом носе трепетало золотое пенсне, и Гозе самодовольно улыбался, глядя по сторонам с обворожительной любезностью. «Ну, кто красивее меня? Кто изящнее, кто умнее?» — услышал Федор Андреевич и улыбнулся в ответ этому пустому самодовольству.

— Воронова не видели? — спросил Гозе.

— Нет. Он здесь?

— Здесь! Привез жену и ходит с ней, как дурень с писаной торбой. Семинарист, и вдруг женился на генеральской дочке! Теперь горд, как индей-

ский петух. Да вон он стоит!

Федор Андреевич взглянул и в дверях зала увидел Воронова. Согнув шею, выставив вперед свое курносое лицо, он действительно сиял.

— Пишете новую пьесу? — спросил у Гозе подошедший к нему господин странного вида: жидкий и сухой, как палка, с крошечной лохматой головою, с торчащей бородой, он походил на мочальную швабру, прислоненную к стене, потому что имел обыкновение как-то весь откидываться назад.

«Надо быть посолиднее!» — услышал Федор Андреевич, и затем Гозе сказал:

— Пишу, пишу! Иван Антонович не прожил бы Масленой и Пасхи без моих пьес. Ха-ха-ха!

— Будет мне ролька?

«Знакомы ли они?» — подумал Гозе и сказал:

— Это Мерзкохарь, даровитый артист.

Федор Андреевич, не без удивления странной фамилии, пожал мокрую руку Мерзкохаря. Тот откинулся еще сильнее, несомненно для придания себе важности, и, встряхнув своими мочалами, спросил:

— Изволите писать для нашего театра? Не слыхал вашей фамилии! Может, артист?

— Нет, я пишу, но не пьесы.

— А к нам ходите?

«Видел ли он меня хоть в одной из ролей?» — беспокойно заворочалось у него в голове.

— Он неподражаемо играет становых приставов и сыщиков, — вмешался Гозе и отошел.

Мерзкохарь закачался, как гибкий прут.

— Вам нравится? — спросил он Гозе, но тот уже отошел в сторону, и Мерзкохарь обратился к Федору Андреевичу: — У меня правда отлично выходят сцены с чухнами и жидами. Когда я их ловлю и начинаю бить или выслеживаю, Иван Антонович всегда очень хвалят!

«Похвали и ты!»

Федор Андреевич только кивнул головою, всматриваясь в серые глазки этой хари, а тот думал: «Дуралей какой-то! Верно, втирается к Хрипуну. Ну, да я отшибу тебя. Подожди! Не сегодня-завтра меня режиссером сделает, я и Гозе тогда — фью! Однако, черт возьми, не нырнуть ли в буфет?»

— А, Слонов! — извиваясь станом, окликнул он лохматого человека и пошел с ним из комнаты.

Федор Андреевич оглянулся. Два господина говорили об африканской войне с видимым жаром. Взгляд одного упал на Федора Андреевича, и он явственно услышал: «Провалился бы ты с бурами!

Говорил бы сразу, за сколько меня покупаешь, а то буры!»

Федор Андреевич брезгливо отвернулся и прошел дальше. Четверо играли за одним столом в винт. Он постарался встретить их взгляды, и все они, оказывается, презирали друг друга и считали мошенниками. Федору Андреевичу стало противно, и вдруг он увидел несущегося по комнате хозяина. Его взгляд скользил по гостям. Он подходил то к одному, то к другому, брал его за талью, потом оставлял и шел дальше. Взгляд его встретился с глазами Федора Андреевича.

«Ну, этот мне пока не нужен! Да и вообще!» И он прошел мимо Федора Андреевича, смотря пристально впереди себя, и вдруг набросился на одного господина и пошел с ним назад.

— Я вас с женой познакомлю и потом вам партийку устрою! — нежно говорил он и случайно взглянул на Федора Андреевича. «Не уйдешь ты от меня теперь», — услышал он.

«Деловой человек!» — с усмешкой подумал Федор Андреевич, а Хрипун опять шел назад, ведя под руку Воронова. Тот согнул свою неуклюжую фигуру и счастливо улыбался.

«Все же полиция. Обласкать надо; всегда пакость устроить может», — думал Хрипун, идя с

Вороновым, а Воронов с гордостью думал: «Вот что значит жена из высшего общества!»

Федор Андреевич торопливо отвернулся, и ему стало противно. В это время глаза его встретились с глазами управляющего Хрипуна. Гладковыбритое, умное и хитрое лицо управляющего насмешливо улыбалось. Федор Андреевич услыхал: «Дурачье! Их корми только! А узнай они наши дела… что этот так глаза пучит?..»

— Мое почтение! — сказал он Федору Андреевичу, подавая ему мягкую, как вата, руку.

Федор Андреевич поздоровался с ним и пошел дальше. Он миновал несколько комнат и очутился в маленькой гостиной, освещенной голубым фонарем.

Здесь не было никого. Смешанный гул толпы и музыка доносились смутным шумом.

Федор Андреевич устало опустился в глубокое кресло и тяжело вздохнул. Чувства омерзения и ужаса сменялись в его душе. Вот люди, которых он и уважал, и любил! Жалкие себялюбцы, глупцы, негодяи, лицемеры! Ни одной возвышенной мысли, ни одного чистого чувства!.. Правы все, считавшие его чуть не дураком!..

Он машинально взял в руки чей-то портрет со стола. За стеклом рамки смотрело на него

красивое женское лицо; в то же время в стекле, на темном фоне отразилась его физиономия; он взглянул себе в глаза и в ту же минуту услышал самодовольный голос: «Что ни говори, а я лучше всех! И умнее, и чище…»

Краска кинулась ему в лицо, и он с негодованием отложил в сторону портрет. Вот и он со своей душою!

— Что вы уединились тут? — раздался над ним голос. — Одни и скучаете?

Он торопливо встал и увидел перед собою радушное лицо хозяйки.

— Я зашел сюда отдохнуть, — ответил он, смотря ей в глаза, но таинственного голоса не раздалось: сила талисмана окончилась…

— Может быть, вы кого-нибудь ждете! — с лукавой улыбкою сказала хозяйка и, погрозив пальцем, вышла.

Федору Андреевичу стало невыносимо тяжко. После всего пережитого за день он уже не чувствовал себя в силах оставаться здесь долее и решил уехать.

По дороге он думал, что испортил навеки свою жизнь, что теперь он уже не будет в состоянии, как прежде, смотреть открыто людям в глаза и доверчиво относиться к их речам. Что теперь он

не поверит… даже себе.

Он вошел в свою квартиру, оглянулся кругом и все показалось ему так уныло, так пасмурно. И в нем самом совершилась перемена.

Чувство сперва ужаса, потом омерзения сменилось тихою грустью. Собственно, он вкусил от дерева познания добра и зла…

Но как же он раньше жил? Дураком, наивнейшим дураком! Размазнею!..

И все-таки: проклятый дар этого прок… этого старичишки!..

Хорошо еще, что он не наградил себя этою способностью навсегда. Он бы повесился с отчаянья… Нет, лучше оставаться размазнею… если теперь это возможно… Во всяком случае…

Он решительно поднялся, открыл ящик стола, вынул из него кристалл и прошел с ним в кухню. Там, разложив на плите газетный лист, он схватил топор и обухом его растолок в пыль этот проклятый камень, это сатанинское прозрение.

Потом вернулся в комнаты и с омерзением торопливо выбросил порошок за форточку. Порошок рассыпался мелкою пылью, и Федор Андреевич вздохнул с облегчением…

В это время под окошком проходили молодые люди, только что вступающие в жизнь. Они возвращались с товарищеской пирушки и продолжали с жаром говорить об идеалах, о торжестве правды, о готовности пострадать за нее; давали жаркие обеты всю жизнь посвятить добру и служению ближнему — и вдруг приостановились, при свете фонаря взглянули в глаза друг другу и… громко расхохотались.

Ф. К. Сологуб. Дама в узах. Легенда белой ночи

Н. И. Бутковской



У одного московского мецената (говорят, что меценаты водятся теперь только в Москве) есть великолепная картинная галерея, которая после смерти владельца перейдет в собственность города, а пока мало еще кому ведома и труднодоступна. В этой галерее висит превосходно написанная, странная по содержанию картина малопрославленного, хотя и весьма талантливого русского художника. В каталоге картина обозначена названием «Легенда белой ночи».

Картина изображает сидящую на скамейке в едва только распускающемся по весне саду молодую даму в изысканно-простом черном платье, в черной широкополой шляпе с белым пером. Лицо дамы прекрасно, и выражение его загадочно. В неверном, очарованном свете белой ночи, который восхитительно передан художником,

кажется порою, что улыбка дамы радостна; иногда же кажется эта улыбка бледною гримасою страха и отчаяния.

Рук не видно — они заложены за спину, и по тому, как дама держит плечи, можно подумать, что руки ее связаны. Стопы ее ног обнажены. Они очень красивы. На них видны золотые браслеты, скованные недлинною золотою цепочкою. Это сочетание черного платья и белых необутых ног красиво, но странно.

Эта картина написана несколько лет тому назад, после странной белой ночи, проведенной ее автором, молодым живописцем Андреем Павловичем Крагаевым, у изображенной на картине дамы, Ирины Владимировны Омежиной, на ее даче близ Петербурга.

Это было в конце мая. День был теплый и очаровательно-ясный. Утром, то есть в ту пору, когда рабочий люд собирается обедать, Крагаева позвали к телефону.

Знакомый голос молодой дамы говорил ему:

— Это — я, Омежина. Андрей Павлович, сегодня ночью вы свободны? Я жду вас к себе на дачу ровно в два часа ночи.

— Да, Ирина Владимировна, благодарю, — начал было Крагаев.

Но Омежина перебила его:

— Итак, я вас жду. Ровно в два часа.

И тотчас же повесила трубку. Голос Омежиной был необычайно холоден и ровен, каким бывает голос человека, готовящегося к чему-то значительному. Это, а также и краткость разговора немало удивили Крагаева. Он уже привык к тому, что разговор по телефону, и особенно с дамою, бывает всегда продолжителен. Ирина Владимировна, конечно, не составляла в этом отношении исключения. Сказать несколько слов и повесить трубку — это было неожиданно и ново и возбуждало любопытство.

Крагаев решился быть аккуратным и не опаздывать. Он заблаговременно заказал автомобиль, — своего еще не было.

Крагаев был довольно хорошо, хотя и не особенно близко знаком с Омежиною. Она была вдова богатого помещика, умершего внезапно за несколько лет до этой весны. Она и сама имела независимое состояние. Дача, куда она приглашала Крагаева, была ее собственная.

О ее жизни с мужем ходили в свое время странные слухи. Говорили, что он часто и жестоко бьет ее. Дивились тому, что она, женщина состоятельная, терпит это, и не оставляет его.

Детей у них не было. Говорили, что Омежин и неспособен иметь детей. И это еще более казалось всем странным — зачем же она с ним живет?

Часы Крагаева показывали ровно два часа, и уже становилось совсем светло, когда его автомобиль, замедляя ход, приближался к ограде загородного дома Омежиной, где ему приходилось бывать несколько раз прошлым летом.

Крагаев чувствовал странное волнение.

«Будет еще кто-нибудь или только я один зван? — думал он. — Приятнее быть наедине с милою дамою в эту очаровательную ночь. Разве и зимою не надоели достаточно все эти люди!»

У ворот не видно было ни одного экипажа. Было совсем тихо в темном саду. Окна в доме были не освещены.

— Ждать? — спросил шофер.

— Не надо, — решительно сказал Крагаев и расплатился.

Калитка у темных ворот была немного приоткрыта. Крагаев вошел и закрыл за собою калитку. Оглянулся почему-то — увидел в калитке ключ и, повинуясь какому-то неясному предчувствию, замкнул калитку.

Тихо шел он по песочным дорожкам к дому. От реки тянуло прохладою, кое-где в кустах слабо и

неуверенно чирикали первые, ранние птички.

Вдруг знакомый голос, опять, как утром, странно-ровный и холодный, окликнул его.

— Я здесь, Андрей Павлович, — говорила Омежина.

Крагаев повернул в ту сторону, откуда слышался голос, и на скамейке перед куртиною увидел хозяйку.

Она сидела и улыбалась, глядя на него. Одета она была точь-в-точь так, как он потом изобразил ее на картине: то же черное платье, изысканно простое покроем, никаких украшений; та же черная шляпа с широкими полями и с белым пером; так же руки заложены были за спину и казались связанными; так же, спокойные на желтом сыроватом песке дорожки, видны были белые ноги, и на них, охватывая тонкие щиколотки, слабо поблескивало золото двух скованных золотою цепью браслетов.

Омежина улыбалась тою же неопределенною улыбкою, которую потом Крагаев перенес на портрет, и говорила ему:

— Здравствуйте, Андрей Павлович. Я почему-то была уверена, что вы непременно придете в назначенный час. Простите, я не могу подать вам руки, мои руки крепко связаны.

Заметив движение Крагаева, она засмеялась невесело и сказала:

— Нет, не беспокойтесь — не надо развязывать. Так надо. Так он хочет. Нынче опять его ночь. Сядьте здесь, рядом со мною.

— Кто он, Ирина Владимировна? — с удивлением, но осторожно спросил Крагаев, садясь рядом с Омежиною.

— Он, мой муж, — спокойно отвечала она. — Сегодня годовщина его смерти. В этот самый час он умер — и каждый год в эту ночь и в этот час я опять отдаю себя в его власть. Каждый год он выбирает того, в кого входит его душа. Он приходит ко мне и мучит меня несколько часов. Пока не устанет. Потом уходит — и я свободна до будущего года. На этот год он избрал вас. Я вижу, вы удивлены. Вы готовы думать, что я — сумасшедшая.

— Помилуйте, Ирина Владимировна, — начал было Крагаев.

Омежина остановила его легким движением головы и сказала:

— Нет, это — не безумие. Послушайте, я вам все расскажу, и вы меня поймете. Не может быть, чтобы вы, такой чуткий и отзывчивый человек, такой прекрасный и тонкий художник, не поняли меня.

Когда человеку говорят, что он тонкий и чуткий человек, то он, конечно, готов понять все что угодно. И Крагаев почувствовал себя начинающим понимать душевное состояние молодой женщины. Следовало бы поцеловать в знак сочувствия ее руки, и Крагаев с удовольствием поднес бы к своим губам тонкую, маленькую ручку Омежиной. Но так как сделать это было неудобно, то он ограничился тем, что пожал локоть ее руки.

Омежина ответила ему благодарным наклонением головы. Улыбаясь странно и неверно, так что нельзя было понять, весело ли ей очень или хочется плакать, она говорила:

— Мой муж был слабый, злой человек. Не понимаю теперь, почему, за что я его любила, почему не уходила от него. Сначала робко, потом все откровеннее и злее с каждым годом он мучил меня. Все виды мучений он разнообразил, чтобы терзать меня, но скоро он остановился на одной, самой простой и обыкновенной муке. Не понимаю, почему я все это терпела. И тогда не понимала и теперь не понимаю. Может быть, ждала чего-то. Как бы то ни было, я была перед ним слабым и злым, как покорная раба.

И Омежина спокойно и подробно стала рассказывать Крагаеву, как мучил ее муж. Говорила,

как о ком-то чужом, словно не она претерпела все эти мучительства и издевательства.

С жалостью и негодованием слушал ее Крагаев, но так тих и ровен был ее голос, и такая злая зараза дышала в нем, что вдруг Крагаев почувствовал в себе дикое желание повергнуть ее на землю и бить ее, как бил ее муж. Чем дольше она говорила, чем больше узнавал он подробностей этого злого мучительства, тем яснее он чувствовал и в себе это возрастающее злое желание. Сначала ему казалось, что говорит в нем досада на ту бесстыдную откровенность, с которою она передавала ему свою мучительную повесть, — что это ее тихий, почти невинный цинизм вызывает в нем дикое желание. Но скоро он понял, что это злобное чувство имеет более глубокую причину.

Или уже и в самом деле не душа ли покойного воплощалась в нем, изуродованная душа злого, слабого мучителя? Он ужаснулся, но скоро почувствовал, как в душе его умирает этот мгновенно-острый ужас, как все повелительнее разгорается в душе похоть к мучительству, злая и мелкая отрава.

Омежина говорила:

— Все это я терпела. И ни разу никому не пожаловалась. И даже в душе не роптала. Но был

день весною, когда я была так же слаба, как и он. В душу мою вошло желание его смерти. Были ли очень мучительны те побои, которые он мне тогда наносил, весна ли с этими призрачными белыми ночами так на меня действовала — не знаю, откуда в меня вошло это желание. Так странно! Я никогда не была ни злою, ни слабою. Несколько дней я томилась этим подлым желанием. Я ночью садилась у окна, смотрела в тихий, неясный свет городской северной ночи, с тоскою я со злостью сжимала свои руки и думала настойчиво и зло: «Умри, проклятый, умри!» И случилось так, что он вдруг умер, вот в этот самый день, ровно в два часа ночи. Но я не убила его. О, не думайте, что я убила его!

— Помилуйте, я не думаю этого, — сказал Крагаев, но голос его звучал почти сердито.

— Он умер сам, — продолжала Омежина. — Или, может быть, силою моего злого желания я свела его в могилу? Может быть, так могущественна бывает иногда воля человека? Не знаю. Но я не чувствовала раскаяния. Совесть моя была совершенно спокойна. И так продолжалось до следующей весны. Весною, чем яснее становились ночи, тем хуже было мне. Тоска томила меня все сильнее и сильнее. Наконец, в ночь его

смерти он пришел ко мне и мучил меня долго.

— А, пришел! — с внезапным злорадством сказал Крагаев.

— Вы, конечно, понимаете, — говорила Омежина, — что это был не покойник, пришедший с кладбища. Для таких проделок он был все ж таки слишком благовоспитанный и городской человек. Он сумел устроиться иначе. Он овладел волею и душою того, кто, как вы теперь, пришел ко мне в эту ночь, кто мучил меня жестоко и долго. Когда он ушел и оставил меня изнемогшею от мук, я плакала, как избитая девчонка. Но душа моя была спокойна, и я опять не думала о нем до следующей весны. И вот каждый год, когда наступают белые ночи, тоска начинает томить меня, а в ночь его смерти приходит ко мне мучитель мой.

— Каждый год? — задыхающимся от злости или от волнения голосом спросил Крагаев.

— Каждый год, — говорила Омежина, — бывает кто-нибудь, кто приходит ко мне в этот час, и каждый раз словно душа моего мужа вселяется в моего случайного мучителя. Потом, после мучительной ночи, тоска моя проходит, и я возвращаюсь в мир живых. Так было каждый год. В этот год он захотел, чтобы это были вы. Он

захотел, чтобы я ждала вас здесь, в этом саду, в этой одежде, со связанными руками, босая. И вот я послушна его воле. Я сижу и жду.

Она смотрела на Крагаева, и на лице ее было то сложное выражение, которое он потом с таким искусством перенес на свою картину.

Крагаев как-то слишком поспешно встал. Лицо его стало очень бледным. Чувствуя в себе страшную злобу, он схватил Омежину за плечо и диким, хриплым голосом, сам не узнавая его звука, крикнул:

— Так было каждый год, и нынче с тобою будет не иначе. Иди!

Омежина встала и заплакала. Крагаев, сжимая ее плечо, повлек ее к дому. Она покорно шла за ним, дрожа от холода и от сырости песчинок под нагими стопами, торопясь и спотыкаясь, больно на каждом шагу ощущая подергивание золотой цепи и толчки золотых браслетов. И так вошли они в дом.

А. С. Грин. Земля и вода



I

— Разумеется, я пил молоко, — жалобно сказал Вуич, — но это первобытное удовольствие навязали мне родственники. Глотать белую, теплую, с запахом навоза и шерсти, матерински добродетельную жидкость было мне сильно не по душе. Я отравлен. Если меня легонько прижать, я обрызгаю тебя молоком.

— Деревня?.. — сказал я. — Когда я о ней думаю, колодезный журавль скрипит перед моими глазами, а пузатые ребятишки шлепают босиком в лужах. Ясно, тихо и скучно.

Вуич сдал карты. От нечего делать мы развлекались рамсом: игра шла на запись на десятки тысяч рублей. Я проиграл около миллиона, но был крайне доволен тем, что мои последние десять рублей мирно хрустят в кармане.

— Что же делать? — продолжал Вуич, стреми-

тельно беря взятку. — Я честно исполнил свои обязательства горожанина перед целебным ликом природы. Я гонялся за бабочками. Я шевелил палочкой навозного жука и сердил его этим до обморока. Я бросал черных муравьев к рыжим и кровожадно смотрел, как рыжие разгрызали черных. Я ел дикую редьку, щавель, ягоды, молодые побеги елок, как это делают мальчишки, единственное племя, еще сохранившее в обиходе различные странные меню, от которых с неудовольствием отворачивается гурман. Я сажал на руку божьих коровок, приговаривая с идиотски-авторитетным видом: «Божья коровка — дождь или вёдро[54]?» — пока насекомое не удирало во все лопатки. Я лежал под деревьями, хихикал с бабами, ловил скользких ершей, купался в озере, среди лягушек, осоки и водорослей, и пел в лесу, пугая дроздов.

— Да, ты был честен, — сказал я, бросая семерку.

— А, надоело играть в карты! — вскричал Вуич. — Зачем я вернулся? — Он встал и, скептически поджав губы, исподлобья осмотрел комнату. — Эта дыра в шестом этаже! Этот боль-

[54] Notes: 54
Ясная погода *(устар.)*.

ной диван! Эта герань! Этот мешочек с сахаром и зеленый от бешенства самовар, и старые туфли, и граммофон во дворе, и узелок с грязным бельем! Зачем я приехал?!

— Серьезно, — спросил я, — зачем?

— Не знаю. — Он высунулся наполовину в окно и продолжал говорить, повернув слегка ко мне голову. — Любовь! Вчера я в сумерках курил папиросу и тосковал. Я следил за дымными кольцами, бесследно уходящими в синий простор окна, — в каждом кольце смотрело на меня лицо Мартыновой. Потребность видеть ее так велика, что я непрерывно мысленно говорю с ней. Я одержим. Что делать?

— Гипноз…

— Оскорбительно.

— Работа…

— Не могу.

— Путешествие…

— Нет.

— Кутежи…

— Грязно.

— Пуля…

— Смешно.

— Тогда, — сказал я, — обратись к логике. — Чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь зайца.

Ты безразличен ей, и этого для тысячи мужчин было бы совершенно довольно, чтобы повернуться спиной.

— Логика и любовь! — грустно сказал Вуич. — Я еще не старик.

Он сел против меня. В этот исторический день было светлое, легкое, лучистое утро. Я сидел в комнате Вуича, еще полный уличных впечатлений, привычных, но милых сердцу в хороший день: пестрота света и теней, цветы в руках оборванцев, улыбки и глаза под вуалью, силуэты в кофейне, солнце. Я внимательно рассмотрел Вуича. У носа, глаз, висков, на лбу и щеках его легли, еще нерешительно и податливо, исчезая при смехе, морщины, но было уже ясно, что корни их — мысли — неистребимы.

— Мартынову, — сказал Вуич, — нужно понять и рассмотреть так, как я. Ты не видел ее совсем. Это женщина небольшого роста, смуглая в тон волос, пышных, но стиснутых гребнями. Волосы и глаза темные, рот блондинки — нежный и маленький. Она очень красива, Лев, но красота ее беспокойна, я смотрю на нее с наслаждением и тоской; она ходит, наклоняется и говорит иначе, чем остальные женщины; она страшна в своей прелести, так как может свести жизнь к одному

желанию. Она жестока; я убедился в этом, посмотрев на ее скупую улыбку и прищуренные глаза, после тяжелого для меня признания.

Он пристально смотрел на меня, как бы желая долгим, сосредоточенным взглядом заставить проникнуться его горем.

— Я пойду к ней, — неожиданно сказал Вуич. Он улыбнулся.

— Когда?

— Сейчас.

— Полно, полно! — возразил я. — Не надо, не надо, Вуич, слышишь, милый? — Я взял его руку и крепко пожал ее. — Разве нет гордости?

— Нет, — тихо сказал он и посмотрел на меня глазами ребенка.

Спорить было бесцельно. Отыскав шляпу, я догнал Вуича; он спускался по лестнице и обернулся.

— Пойдем вместе, Лев, — жалобно сказал он, — с тобой, конечно, я просижу сдержанно, отсутствие посторонних вызовет слезы, злобу и… бессильную страсть.

Я согласился. Мы перешли мост, вышли на Караванную и, не разговаривая более, приехали трамваем к Исаакиевскому собору. Вуич, торопясь, покинул вагон первым. Я, выйдя, заку-

рил папиросу, для чего мне пришлось немного остановиться, так что мой друг опередил меня по крайней мере на шестьдесят — восемьдесят шагов.

Я намеренно указываю эти подробности в силу значения их в наступившем немедленно вслед за этим сне наяву.

II

Меня как бы ударили по ногам. Я упал, ссадив локоть, поднялся и растерянно посмотрел вокруг. Часть прохожих остановилась, из ворот выбежал дворник и тоже остановился, смотря мне в глаза. Я шатался. Вокруг, звеня, лопались, осыпаясь, стекла. Оглушительное сердцебиение заставило меня жадно и глубоко вздохнуть. Мягкий, решительный толчок снизу повторился, отдавшись во всем теле, и я увидел, что мостовая шевелится. Булыжники, поворачиваясь и расходясь, выскакивали из гнезд с глухим стуком. Толпа побежала.

— Что же это, что же это такое?! — слабо закричал я. Я хотел бежать, но не мог. Новый удар помутил сознание, слезы и тошнота душили меня. С купола Исаакиевского собора, кружась, неслись вниз темные фигуры — град статуй,

поражая землю гулом ударов. Купол осел, разваливаясь; колонны падали одна за другой, рухнули фронтоны, обломки их мчались мимо меня, разбивая стекла подвальных этажей. Вихрь пыли обжег лицо.

Грохот, напоминающий пушечную канонаду, раздавался по всем направлениям; это падали, равняясь с землей, дома. К потрясающему рассудок гулу присоединился другой, растущий с силой лавины, — вопль погибающего Петербурга. Фасад серого дома на Адмиралтейском проспекте выгнулся, разорвал скрепы и лег пыльным обвалом, раскрыв клетки квартир, — богатая обстановка их показалась в глубине каждого помещения. Я выбежал на полутемную от пыли Морскую, разрушенную почти сплошь на всем ее протяжении: груды камней, заваливая мостовую, подымались со всех сторон. В переулках мчалась толпа; множество людей без шляп, рыдая или крича охрипшими голосами, обгоняли меня, валили с ног, топтали; некоторые, кружась на месте, с изумлением осматривались, и я слышал, как стучат их зубы. Девушка с растрепанными волосами хваталась за камни в обломках стен, но, обессилев, падала, выкрикивая: «Ваня, я здесь!» Потерявшие сознание женщины лежали

на руках мужчин, свесив головы. Трупы попадались на каждом шагу, особенно много их было в узких дворах, ясно видимых через сплошные обвалы. Город потерял высоту, стал низким; уцелевшие дома казались среди развалин башнями; всюду открывались бреши, просветы в параллельные улицы, дымные перспективы разрушения. Я бежал среди обезумевших, мертвых и раненых. Невский проспект трудно было узнать. Адмиралтейский шпиц исчез. На месте Полицейского моста блестела Мойка, вода захлестывала набережную, разливаясь далеко по мостовой. Движение здесь достигло неслыханных размеров. Десятки трамвайных вагонов, сойдя с рельс, загораживали проход, пожарные команды топтались на месте, гремя лестницами и крючьями, дрожали стиснутые потоком людей автомобили, лошади становились на дыбы, а люди, спасаясь или разыскивая друг друга, перелезали вагоны, ныряли под лошадей или, сжав кулаки, прокладывали дорогу ударами. Некоторые дома еще держались, но угрожали падением. Дом на углу улицы Гоголя обвалился до нижнего этажа, балки и потолки навесами торчали со всех сторон, под ногами хрустели стекла, фарфор, картины, ящики с красками, электрические лампы,

посуда. Множество предметов, чуждых улице, появилось на мостовой — от мебели до женских манекенов. Отряды конных городовых, крестясь, без шапок двигались среди повального смятенья неизвестно куда, должно быть, к банкам и государственным учреждениям.

Впервые я поразился пестротой и разнородностью толпы, окружавшей меня. Приказчики, дети, неизвестные, хорошо одетые, толстые и очень бледные люди, офицеры, плачущие навзрыд дамы, рабочие, солдаты, оборванцы, гимназисты, чиновники, студенты, отталкивая друг друга, падая и крича, бросались по всем направлениям, потеряв голову. Стремительное движение это действовало гипнотически. Глаза мои наполнились слезами, сила душевного потрясения разразилась истерикой, я бился головой о трамвайный вагон. Больше всего я боялся сойти с ума; боль в ушах, слабость и тошнота усиливались. Я стоял между прицепным и передним вагоном, встречаясь глазами с тысячью бессмысленных, тусклых взглядов толпы, пока не разразился третий удар. Я закрыл глаза. Вагоны, загремев, сдвинулись, сохранив мне, стиснутому ими до боли в плечах — жизнь, так как уцелевшие стены зданий, медленно и грозно склонясь,

рухнули вокруг Невского, сокрушая неистовую толпу, и свежий туман пыли скрыл небо.

Вдруг я очнулся, исчезло оцепенение, и настоящий животный страх хмелем плеснул в голову, приобщая меня к панике. Удары камней в стенки вагона почти разрушили их, и я уцелел чудом. Я понял, что единственная истина *теперь — случайность,* законы тяжести, равновесия и устойчивости более не оберегали меня, и я, по свойственному человеку стремлению к дисциплине материи, рвался в сокрушительном волнении города к неизвестно где существующим спасительным остаткам незыблемости. Я кинулся, работая локтями, вперед, к Мойке; это был инстинкт неудержимый и — увы! — слепой, так как многие во власти его нашли смерть.

Я не понимаю, как уцелело бесконечное множество людей, запрудивших улицы. Их было почти столько же, сколько трупов, пробираться между которыми было не так легко. Избегая ступать по мертвым и ползающим с раздробленными ногами, я проваливался в нагромождениях стропил, досок и кирпичей, рискуя сломать шею. Громадные исковерканные вывески гнулись подо мной с характерным железным стоном. С поникших, а местами упавших трамвайных столбов паутиной

висела проволока, останавливая бегущих; как я узнал после, электрический ток в момент начала гибели Петербурга был выключен.

Я остановился у Мойки. Сознание отказывалось запечатлеть все виденное мной; любая из сцен, происходящих вокруг, взятая отдельно, в условиях повседневной жизни, могла бы вытеснить все впечатления дня, но сила трагизма их уничтожалась подавляющим, беспримерным событием, последствия которого каждый уцелевший переживал сам.

Я видел и запоминал лишь то, что, по необъяснимому капризу внимания, бросалось в глаза; все остальное напоминало игру теней листвы, бесследно пропадая для памяти, лишь только я обращал взгляд на другие явления. Мало кто смотрел вниз, лица почти всех были обращены к небу, как будто дальнейшее зависело от голубого пространства, жуткого в своей ясной недостижимости. Мимо меня, спотыкаясь, пробежала старуха в дорогом разорванном платье; она прижимала к груди охапку сыплющихся из-под ее рук вещей, среди которых были, вероятно, ненужные теперь рюши и кружевные косынки. Мужчина, коротко остриженный, с красным затылком, сидел, закрывая лицо руками. На углу

Мойки полуодетый молодой человек пытался поставить на ноги мертвую женщину и хмурился, не обращая ни на кого внимания. Несколько людей — по-видимому, семейство, — протягивая руки, ползли в щебне и мусоре к повисшему на выступе разрушенной стены человеку; он висел на камнях, подобно перекинутому через плечо полотенцу, лицом ко мне, — по его рукам обильно текла кровь. Извозчик возился около издыхающей лошади, снимая дугу; на той стороне канала городовой стрелял из револьвера в группу убегающих проворных людей с котелками на головах. Крики, раздававшиеся вокруг, поражали не выразительностью слов, а звуками, утратившими всякое сходство с голосом человеческим.

«Землетрясение! — О, боже, о боже мой!» — ревело вокруг меня, соединившего свой крик с общим неистовством гибели. По колени в воде я остановился на краю набережной, скинул пиджак и поплыл на другую сторону. Волнение с зловещим глухим плеском бросало меня вперед, назад и опять вперед, пока я среди других плывущих не уцепился за остатки моста. Я вылез на мостовую и побежал, стремясь к Михайловскому скверу, где в случае нового сотрясения почвы площадь могла послужить некоторой защитой

от падающих вокруг зданий.

III

Теперь, когда я пишу это, лежа в одной из гельсингфорсских больниц (русские города, заставляя вспоминать разрушенный С.-Петербург, внушают мне страх), меня занимает и служит предметом постоянного удивления то, что немногие, определенные и удержанные сознанием мысли, казавшиеся в памятный день 29 июня грандиозными, вполне соответствующими неожиданностью своей размерам события, так элементарны, бессильны и фантастичны. Я думал, например, о таких пустяках, как седые волосы, размышляя, поседею ли я, или торопливо соображал, какой город будет теперь столицей. Любопытство или, вернее, неотразимая притягательность в ужасе — ужаса еще большего, представление о границах возможного для человеческого рассудка, убеждала меня в фактах столь странных, что объяснить это можно лишь полным нарушением в те моменты душевного равновесия. Нисколько не противореча себе и слепо веря призракам грандиозного, единственно возможным в то время, потому что происходили вещи неслыханные, я последовательно переходил от столкновения

земного шара с кометой к провалу европейского материка, остановке вращения Земли вокруг оси, наконец — к пробуждению неисследованной силы материи во всех ее состояниях, природного разрушительного начала, получившего от неизвестных причин загадочную свободу. Я решил также, что все новые дома должны упасть раньше других. Кроме того, я болезненно хотел знать, как выглядит дом на Невском проспекте между Знаменской и Надеждинской: в этом доме я жил. Падающий Исаакиевский собор уничтожил мгновенно всякое воспоминание о Вуиче и Мартыновой, и я вспомнил о них только вечером, но об этом расскажу после.

У Малой Конюшенной я увидел священника, немолодого, с утомленно-полузакрытыми глазами полного человека без шляпы; он стоял на упавшем ребром обломке стены и, прижимая к груди ярко блестевший крест, говорил громким повелительным голосом: «Пришло время. Время… Если вы понимаете…» Он повторял эти слова как бы в раздумьи. Бледный городовой, трясясь, бросился на меня и, сильно ударив по лицу, разбил губу. Я ускользнул от него, как помню, без удивления и оторопи; за других некогда было думать. Полуодетая, с внимательным и краси-

вым лицом барышня остановила меня, схватив за руку, но, осмотрев, исчезла. «Я думала, это ты», — сказала она. Другая спросила: «Где мама и Вовушка?» Хулиганы рвали из ушей женщин серьги, показывая ножи, рылись в грудах вещей или, с деловым видом обыскивающих арестанта надзирателей, шарили у рыдающих людей в карманах, и жертвы этого беспримерного циничного грабежа относились к насилию безучастно, так же как горячечный больной не замечает присутствующих. Я, опять-таки не удивляясь, словно так было всегда, смотрел на грабителей, но, запнувшись об одного из них, обиравшего, стоя на коленях, труп офицера, вздрогнул, поднял кирпич и размозжил оборванцу голову.

Я находился теперь около Казанского сквера. Земля время от времени легонько подталкивала снизу опрокинутый город, как бы держа его на весу в минутном раздумье. Таинственный трепет земли, напоминающий внезапный порыв ветра в лесу, когда шумит, струясь и затихая, листва, возобновлялся с ничтожными перерывами. В красной пыли развалин, скрывающей горизонт, медленно ползли тучи дыма вспыхивающих пожаров. Казанский собор рассыпался, завалил канал; та же участь постигла прилегающие квар-

талы. Скопление народа остановило меня.

В этот момент мне довелось увидеть и пережить то, что теперь в истории этого землетрясения известно под именем «Невской трещины». Я стал падать, не чувствуя под ногами земли, и, перевернувшись на месте, сунулся лицом в камни, но тотчас же вскочил и увидел, что падение было общим, — никто не устоял на ногах. Вслед за этим звук, напоминающий мрачный глубокий вздох, пронесся от Невы до Николаевского вокзала, буквально расколов город с левой стороны Невского. Застыв на месте, я видел ползущий в недра земли обвал; люди, уцелевшие стены домов, экипажи, трупы и лошади, сваливаясь, исчезали в зияющей пустоте мрака с быстротой движения водопада. Разорванная земля тряслась.

— Это сон! — закричал я; слезы текли по моим щекам. Я вспомнил, что после Мексиканского землетрясения меня душил ночью кошмар — свирепые образы всеобщего разрушения; тогда снилось мне в черном небе огненное лицо бога, окруженное молниями, и это было самое страшное. Я смотрел вверх с глухой надеждой, но небо, отливавшее теперь тусклым свинцовым блеском, было небом действительности и отчаяния.

Оглянувшись назад, я, к величайшему удивле-

нию своему, заметил одноцветную темную толпу с темными лицами, тесным рядом взбегающую на отдаленные груды камней, подобно солдатам, кинувшимся в атаку; за странной, так легко и быстро движущейся этой толпой не было ничего видно, кроме темной же, обнимающей горизонт, массы; это мчалась вода. Различив наконец белый узор гребней, я отказываюсь дать отчет в том, как и в течение какого времени я очутился на вершине полуразрушенного фасада дома по набережной Екатерининского канала, — этого я не помню.

Я лежал плашмя, уцепившись за карниз, на острых выбоинах. Снизу, угрожая размыть фундамент, вскакивая и падая, с шумом, наводящим смертельное оцепенение, затопляя все видимое, рылись волны. Вода, разбегаясь крутящимися воронками, ринулась по всем направлениям; мутная, черная в тени, поверхность ее мчала головы утопающих, бревна, экипажи, дрова, барки и лодки. Ровный гул убегающих глубоких потоков заглушил все; в неистовом торжестве его вспыхивали горем смерти пронзительные крики людей, захваченных наводнением. Вокруг, на уровне моих глаз, вблизи и вдали, виднелись по редким островкам стен ускользнувшие от воды

жители. Высоко над головой парили гатчинские аэропланы. Уровень губительного разлива поднимался незаметно, но быстро; между тем казалось, что стена, на которой лежу я, оседает в кипящую глубину. Я более не надеялся, ожидая смерти, и потерял сознание.

IV

Это была тягостная и беспокойная тьма. Вздохнув, я открыл глаза и тотчас же почувствовал сильную боль в груди от долгого лежания на узком выступе, но не пошевелился, опасаясь упасть. Океан звезд сиял в черном провале воды, отсвечивая глухим блеском. Тревожный ропот замирающего волнения окружал спасшую меня стену; в отдалении раздавались голоса, крики, вздохи, плеск невидимых весел; иногда, бессильно зарываясь в темный простор, доносился протяжный вопль.

Измученный, я закричал сам, моля о спасении. Я призывал Спасителя во имя его лучших чувств, ради его матери возлюбленной, обещал неслыханные богатства, проклинал и ломал руки. Совсем обессилев, я мог лишь наконец хрипеть, задыхаясь от ярости и тоски. Прислушавшись в последний раз, я умолк; холодное

равнодушие к жизни охватило меня; я апатично посмотрел вниз, где, не далее двух аршин от моих глаз, загадочно блестели тонкие струи течения, и улыбнулся спокойно лицу смерти. Я понял, что давно уже пережил и себя, и город, пережил еще в те минуты, когда сила безумия потрясла землю. Я знал, что навсегда останусь теперь, если сохраню жизнь, насильственно воскрешенным Лазарем с тяжестью смертельных воспоминаний, навеки прикованный ими к общей братской могиле.

Глубоко, всем сердцем, печально и торжественно желая смерти, я приподнялся на осыпающихся, нетвердых под ногами кирпичах, встал на колени и повернулся лицом к Неве, прощаясь с ее простором и берегами, казнившими город, полный своеобразного очарования севера.

Я соединил руки, готовясь уйти из мира, как вдруг увидел тихо скользящую лодку; величину и очертания ее трудно было рассмотреть в темноте, тем не менее движущееся черное — чернее мрака — пятно, мерно брякавшее уключинами, могло быть лишь лодкой.

Я остановился, или, вернее, привычка к жизни остановила меня на краю смерти. В лодке сидел один человек, спиной ко мне, и усиленно греб,

старяясь держаться к стене; несколько раз весла задели о камни с характерным скребущим звуком; причины осторожности плывущего мне были непонятны, так как успокоившееся, хотя и сильное течение развертывалось достаточно широко даже для парохода. Вид работающего веслами человека подействовал на меня, как вино; энергия, желание вновь помериться с обстоятельствами вернулись ко мне, едва я заметил подобное себе существо, находящееся в сравнительной безопасности и, конечно, плывущее не без цели. Я снова захотел жить; в ту ночь случайное впечатление — например, слово — действовало магически.

Гребца мне следовало окликнуть, но я, не знаю почему, воздержался от этого, решив подать голос именно в тот момент, когда лодка будет совсем близко. Я снова лег, и меня, вероятно, можно было в темноте счесть за кусок стены. В это время, мигая красным и зеленым огнем, прошумел вдали пароход, направляясь к Коломенскому району; человек поднял весла и, оглянувшись, прижал лодку к стене так, что я при желании мог коснуться рукой его головы. Он избегал быть замеченным и внушил мне сильное подозрение. Я подумал, что этот человек, если бы захотел, мог ехать не в

одиночестве, спасая других; без сомнения, передо мной сидел мародер, но, не желая брать слишком большой ответственности за неповинного, быть может, человека, я приподнялся и окликнул его вполголоса: «Эй, снимите меня на лодку!»

Гребец подскочил, ткнул веслом в стену и скрылся бы в десять секунд, но я оказался быстрей его. Вскочив на плечи этому человеку, я стиснул его за горло так сильно, что он выпустил весла, откинулся на борт и захрипел. Я оглушил его ударом весла и, напрягая все силы, выбросил в воду; он замахал руками, стараясь ухватиться за борт, но это не удалось. Я повернул лодку, отъехал и заработал веслами, стараясь как можно скорее покинуть место невольного своего плена. В лодке, когда я боролся с гребцом, мои ноги ступали на что-то скользкое и хрустящее; с помощью спички мне удалось рассмотреть большое количество ссыпанных в мешок золотых и серебряных вещей: столового серебра, часов, украшений и церковных сосудов.

Сообразив, что наконец дальнейшее в значительной степени зависит от меня самого, благодаря свободе передвижения, я вспомнил о Вуиче. Адрес Мартыновой мне был случайно известен, но какой горькой иронией звучали

слова «адрес», «дом», «улица»!

Протяжно вздыхал ветер, холодный, как рука мертвеца; заморосило, и я трясся в ознобе, пытаясь согреть дрожащее от холода и изнурения тело сильными взмахами весел, но это не помогло; мокрый и полуголый, я чувствовал себя плохо. Плывя среди неподвижных, напоминающих остановившийся ночной ледоход, каменных заграждений — остатков вчера еще крепких населенных домов, — я стал осматриваться и кричать: «Вуич! Ты жив?» Я не помнил, второй или третий дом от угла был тот, где жила Мартынова, но, вероятно, находился вблизи него и перестал грести, крича все громче и громче.

Мой призыв не остался без ответа, но то отвечал не Вуич. Меня звали со всех сторон. Некоторые, желая указать место своего ожидания, бросали кирпичи в воду, но я не мог спасать всех — лодка поднимала не более десяти человек.

Я направился к трубам уцелевшего среди других дома и еще издали, по изменяющимся в темноте очертаниям крыши, понял, что на ней нет свободного места: там находились, вероятно, сотни людей. Подъехать ближе я не решился, опасаясь, что в лодку бросятся все, топя ее, себя и меня. Скоро, заметив плывущего ко мне человека,

я втащил его в лодку; он молча, не обращая на меня внимания, лег ничком и не шевелился.

— Вуич! — снова закричал я, плавая спиральными кругами и равномерно их увеличивая, с надеждой, что в одну из кривых попадет наконец исчезнувший друг.

Возле Государственного совета в лодку неизвестно с какого места совершенно неожиданно прыгнул еще один человек, выбив из моих рук весло, упал, поднялся и прицелился в меня револьвером, но, видя, что я не угрожаю ему и не собираюсь выбросить его вон, сел, не выпуская из рук оружия. Еще двое, вытянув шеи, кричали, стоя по колена в воде; я посадил их: это были две женщины.

— Куда вы едете? — спросил человек с револьвером.

— Я ищу знакомых.

— Надо выехать из города, — нерешительно сказал он, — на твердую землю.

Я не ответил. Поднимать спор было опасно: четверо против одного могли заставить плыть куда хотят, приди им в голову та же мысль, что и человеку с револьвером, а я надеялся спасти Вуича, если он жив.

Человек с револьвером настойчиво предложил

ехать по линии Николаевской железной дороги.

— Подождем парохода, — возразил я. — Никто не может сказать, как велика площадь разлива.

Я стал торопливо грести, направляясь к прежнему месту поисков. Все молчали. Фигуры их, дремлющих сидя, понурив головы, делались яснее, отчетливее; наконец, я стал различать уключины, весла и борта лодки: светало; призрачный пар скрыл воду, мы плыли в тусклом полусвете тумана, среди розовых от зари камней.

Я наклонился. Лицо, смутно напоминающее лицо Вуича, ввалившимися глазами смотрело на меня с кормы лодки. Это был человек, лежавший ничком; я взял его, как вы помните, первым. Голый до пояса, он сидел, зажав руки между колен. Я долго всматривался в его тусклое, искаженное неверным светом зари лицо и крикнул:

— Вуич!

Человек безучастно молчал, но по внимательно устремленным на меня глазам я видел его желание понять, чего я хочу. Он поднял руку; на пальце сверкнуло знакомое мне кольцо; это был Вуич.

Я сделал ему знак подойти; он переполз через заснувшего человека с револьвером и вплотную

ко мне, стоя на четвереньках, поднял голову. Вероятно, и меня трудно было узнать, так как он не сразу решился произнести мое имя.

— Лева!? — сказал наконец он.

Я кивнул. Ни его, ни меня не удивило то, что мы встретились.

— Оглох, — тихо произнес он, сидя у моих ног. — Меня это застигло на лестнице. Мартынова, когда я вбежал, не могла двинуться с места. Я вынес ее, а на улице она меня оттолкнула.

Я спросил глазами, что это значит.

— Руками в грудь, — пояснил Вуич, — так, как отталкивают, когда боятся или ненавидят. Она не хотела быть мне ничем обязанной. Я помню ее лицо.

Он видел, что мне затруднительно спрашивать знаками, и продолжал:

— Последнее, что я услышал от нее, было: «Никогда, даже теперь! Уходите, спасайтесь». Она скрылась в толпе; где она — жива или нет? — не знаю.

Он долго рассказывал о том, как остался в живых. То же самое происходило со множеством других людей, и я слушал рассеянно.

— Теперь ты забыл ее? — крикнул я в ухо Вуичу.

Он смутно понял, скорее угадал мой вопрос.

— Нет, — ответил он, вздрагивая от холода, — это больше, чем город.

В лодке все, кроме нас, спали.

Я кружил по всем направлениям; миноносцы, катера, пароходы и баржи сновали над Петербургом, но мы еще не попали в поле их зрения. Ясное утро расцветило воду живым огнем, золотом и лазурью, а я, далекий от желаний любоваться ужасной красотой разрушения, думал о горе живых, более страшном, чем покой мертвых, о себе, Мартыновой, Вуиче, жалея людей, равно бессильных в страсти и гибели.

Вскоре незаметно для самого себя я уснул. Вуич уже спал. Меня разбудил гудок кронштадтского парохода. Нас окликнули и взяли на борт.

Над книгой работали



Руководитель редакционной группы *Анна Золотухина*

Ответственный редактор *Дарья Мордзилович*

Арт-директор *Валерия Шило*

Иллюстрации на обложке и титуле *Юлия Широнина*

Техническая корректура *Анна Погорелова*

ООО «МИФ»

mann-ivanov-ferber.ru